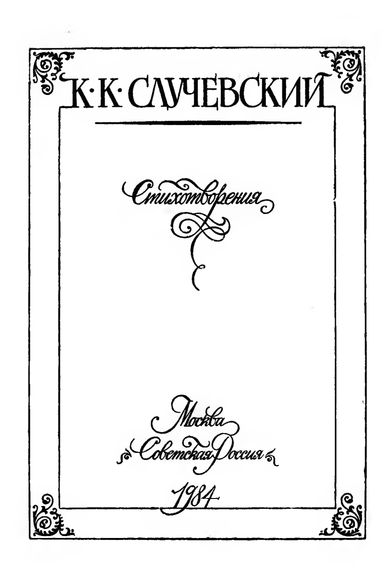

К·К·
СЛУЧЕВСКИЙ
Стихотворения





К·К· СЛУЧЕВСКИЙ

Стихотворения

Москва
Советская Россия
1984

Р1
С49

Составление
Н. К. Старшинова

Вступительная статья и примечания
В. И. Сахарова

Художник
П. С. Сацкий

С $\frac{4702010100-332}{М\text{-}105(03)84}$ 166—84

© Издательство «Советская Россия», 1984 г.,
составление, вступительная статья, примечания.

Заповедный труд

(Константин Случевский: поэзия и судьба)

Бывают эпохи, когда поэзия как бы отступает, уходит на второй план литературы. Дело здесь не в отсутствии дарований, неправых гонениях на поэтов злой критики или же равнодушии к ним читающей публики. В эти времена становится ясно, что личный поэтический дар — великая вещь, но это еще не все. Талант поэта обретает подлинную силу, лишь совпадая в своем пафосе исканий с общим движением действительности и литературы. Так складывается творческая судьба. И характерные эпохи явственного упадка поэзии, когда музы умолкают или же голос их заглушаем шумом времени, это подтверждают.

Такой переходной эпохой стали для русской литературы XIX столетия бурные сороковые годы, когда наша поэзия осталась без Пушкина и Лермонтова и была оттеснена на второй план прозой, критикой и публицистикой.

«Теперь, когда Лермонтова уже нет, а прекрасное дарование г. Майкова пока не обещает идти дальше антологического рода, — поэзия русская если не умерла, то уснула, как это всегда с нею бывает, как скоро тот, кому дано свыше быть ее покровителем, или скончается во цвете лет, или изменит надеждам, которые подаст о себе», — говорил в 1843 году Белинский. С критиком волей-неволей соглашался его литературный противник, поэт Николай Языков: «У нас... теперь стихов пишется вообще несравненно меньше, нежe-

ли в прошлые, даже еще недавние годы... Теперь все хлопочет о прозе, в прозе и во время прозы».

Молчание Тютчева, заново открытого лишь в пятидесятые годы, было достаточно красноречиво и многое разъясняло в поэтической ситуации тех лет, равно как и позднейшие нападки критики на «чистого» лирика Фета. Старое уже уходило и ушло, а новое только нарождалось, споря с трудной эпохой поэтического безвременья. Причем эпоха эта настолько затянулась, обладала такой силой инерции, что и в конце 60-х годов Тургенев писал Полонскому: «Поэзии действительно плохо приходится в наше время, особенно если она не поражает читателя своим блеском и треском... Недостаток талантов, особенно талантов поэтических — вот наша беда».

Эпоха эта отличалась не только расцветом прозы, но и напряженным интересом образованных слоев русского общества к точным и общественным наукам, к политике, стремительным развитием журналистики и публицистической критики, бескомпромиссной борьбой идей, отразившейся в спорах славянофилов и западников и в их творчестве, и в том числе в поэзии. На литературную сцену, в первые ряды русских писателей весьма решительно вышло и стало главной культурной и общественной силой новое поколение «идеалистов сороковых годов», в самом строе своих мятущихся мыслей отразившее противоречия и трудности переходного времени. Лермонтов начал эту мрачную и страстную песню горечи, гнева и разуверения во всем, новое поколение ее продолжило. «Присутствие элемента отрицания, «рефлексии», в каждом живом человеке составляет отличительную черту нашей современности; рефлексия — наша сила и наша слабость, наша гибель и наше спасенье», — писал о людях сороковых годов молодой Иван Тургенев, сам к ним принадлежавший и давший затем их обобщенный портрет в своем «Рудине», «Гамлете Щигровского уезда» и «Дневнике лишнего человека».

Глубочайшие сомнения во всем и прежде всего в себе, мечтательная рассудочность и пристрастие к отвлеченным схемам и идеалам, духовная ранимость, горечь, ирония и близкая к памфлету и фельетону сатира, эпиграммы и даже стихотворные подписи к ка-

рикатурам, — все эти разнородные черты определили облнк русской поэзни сороковых-пятидесятых годов и повлиялн на ее дальнейшее развитие. Общественные потрясеиия середины пятидесятых годов — крымская катастрофа, распад десятнлетиями утверждавшегося ииколаевского механизма угнетения, стремительный рост революциоииых настроений в образованном обществе н простом народе только способствовали такому направлению поэтических умов.

Такова была русская поэзия, когда в нее пришел юный Констаитии Случевский. Прнмечательно, что будущий поэт роднлся в 1837 году, через иесколько месяцев после трагической гибели Пушкииа. И в этом знаменательном совпадении ощутнма грань между двумя поэтическимн эпохамн. Разумеется, в ту пору сына сеиатора по традиции богатой и влнятельной дворяиской семьи прочнлн в блестящие столичные гвардейцы и с этой целью поместили раио осиротевшего мальчика в 1-й Петербургский кадетский корпус, который Констаитин и окончил с отлнчием в 1855 году. Надежды родствеиников сбылнсь, и вскоре бравый и любознательный кадет уже разъезжал по Невскому проспекту в ловко подогнаином муидире с красными гвардейскими отворотами, каске с султаиом и эполетах прапорщика старейшего, прославленного Семеновского полка. Будущее его было определеио н обеспечено.

Сразу надо сказать, что прапорщик Случевский ннчем не походил на гвардейских кутил н николаевских служак, «бурбонов» и «хрипуиов», за жестокое рукоприкладство в казармах прозваных «даитистами». Знавший его тогда литератор П. Анненков, хорошо зиакомый со столичными военнымн, заметил, что это молодой офицер очеиь скромной н прилнчной наружности, вечио красневший и не знавший, куда деваться от смущения, когда Тургенев, Боткин н Аполлон Григорьев хвалнлн его первые поэтнческие опыты. К тому же вся дальиейшая его судьба показывает, что Случевского не миновалн передовые идеи той переломной эпохи, обретшие особую силу и распространение во время общественного подъема второй половины 50-х годов, когда пламенное слово Герцеиа долетало н до казарм. Но до поры до времени прапорщнк о своих заветных мыслях и убеждениях молчал.

Случевский серьезно относился к своей службе и светским обязанностям, прилежно изучал военную науку, собираясь посвятить жизнь армии и устраивая свой скромный офицерский быт. Он заинмал уже маленькую уютную квартирку на Гончарной, окнами на строившийся тогда вокзал Николаевской железной дороги, воевал с вечно пьяным денщиком Шульцем. Аккуратно делал военную карьеру. Впереди были привилегированная Академия генерального штаба, куда прапорщик и поступил в 1859 году, полковничьи эполеты, вензеля и аксельбанты флигель-адъютанта императорской свиты. Однако, как это было уже в удивительной жизни другого состоятельного и родовитого гвардейца со связями при дворе — Лермонтова, поэзия властно вмешалась в благоустроенную, вполне ординарную биографию круглолицего и куриосого офицера-семеновца и многое переменила в судьбе Константина Случевского.

Да, юный офицер переводил западных романтиков — Байрона, Гюго, Барбье и сам писал стихи, очень этого стеснялся, скрывал свое увлечение от сослуживцев и родственников и все же с 1857 года печатал свои переводы и оригинальные стихотворения в третьесортных журнальчиках «Общезанимательный вестник» и «Иллюстрация», помечая их инициалами «К. С.».

До поры до времени безымянного поэта не замечали. Однако уже в этих первых опытах поэт был виден явственно, слышался его голос, пусть пока тихий, неуверенный, но *свой*. В них уже содержалось то, что отличало потом самобытную поэзию зрелого Константина Случевского: разуверение во всем, мучительная раздвоенность с ее вечной борьбой двух «я» в душе человека, горькая и тоскливая дума, едкая ирония и отчаяние, трагический протест против тусклой, безысходной жизни. Особенно поражал в стихотворениях юноши «кладбищенский» мотив, трактующий жизнь человеческую как тягостный парад вечно лгущих и вечно обманутых живых мертвецов и с неожиданной для дебютанта зрелостью мысли и мастерства воплощенный в резком и сильном стихотворении «Я видел свое погребенье...» (1859), оставшемся одним из лучших произведений Случевского.

Имя немецкого остроумца Генриха Гейне, встречавшееся в стихотворениях начинающего поэта, его всем знакомая язвительная интонация, едкая злость и смелые насмешки надо всем, и даже над богом и смертью, сразу же приходили на ум при чтении первых поэтических опытов Константина Случевского, а его тяжеловесный, вычурный, нарочито неуклюжий стих, парадоксальные мрачноватые образы, причудливо соединявшие в себе самые низкие прозаизмы и высочайший трагизм, заставляли вспомнить «тяжелую лиру» Степана Шевырева и угловатую поэзию другого позднего романтика — В. Бенедиктова, печатавшегося рядом со Случевским в «Общезанимательном вестнике». Потом назвали еще одно имя — Лермонтов, но было это уже после первого успеха и шума, после появления замечательного «лермонтовского» стихотворения «Статуя» (1860).

Заметили Случевского-поэта, как всегда, случайно, но в таких случайностях проглядывает закономерность, логика поэтической судьбы. Приятель Случевского Всеволод Крестовский, тогда студент, а впоследствии известный беллетрист, тайком от поэта отнес его стихотворения Аполлону Григорьеву, замечательному критику и поэту, человеку нрава широкого и буйного, обладавшему безукоризненным поэтическим слухом и вкусом. Этот всегдашний энтузиаст, прочитав их, сразу пожелал видеть автора и, встретившись со Случевским и выслушав его чтение, предсказал юноше великую славу и оставил стихотворения у себя. Затем неведомыми путями они очутились у Тургенева, попали от него к поэту и издателю Н. А. Некрасову, и вскоре Случевский, поздно вернувшись домой с бала, обнаружил у себя на столе корректуру со штампом некрасовского «Современника», самого передового, влиятельного и читаемого тогда петербургского журнала. Стихотворения его появились в январской книжке «Современника» 1860 года, а затем и в «Отечественных записках», и были всеми замечены. Это был успех, большой и для автора совершенно неожиданный.

Новый поэт сразу стал своего рода знаменитостью. Верный своему первому впечатлению, Аполлон Григорьев поместил в «Сыне отечества» статью-«разговор» и вложил в уста одного из персонажей

следующую оценку поэзии молодого Случевского: «Струею свежего, совсем свежего воздуха брызнули на меня эти стихи... Этот господин идет в творчестве не от *чувствий* и даже не от мыслей и впечатлений, а прямо от образов, ярко предстающих его душе, захватывающих ее... Тут сразу является — поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт... а коли уж на кого похожий, — так на Лермонтова... Это сила идет новая, молодая сила». Столь же высоко оценил эти стихотворения Тургенев, публично пророчивший Случевскому великое будущее, незаурядный поэтический успех и писавший о нем Афанасию Фету: «Этот малый растет быстро: кажется, из него выйдет путь». Конечно, нам сегодня ясно, что Аполлон Григорьев и Тургенев, во всеуслышание объявив Случевского новоявленным Лермонтовым, сильно увлеклись, не разобравшись в характере его дарования и общей поэтической ситуации. Понимали это и современники, например, приятель Тургенева писатель А. Д. Галахов, заметивший позднее: «Хотя молодой офицер и оказался действительно талантливым, но все же не заткнул Лермонтова за пояс».

Стихотворения Случевского, помещенные в «Современнике» и «Отечественных записках», и восторженные хвалы ему Григорьева и Тургенева вызвали в литературной среде шумный ропот негодования, породили сердитые и пренебрежительные критические окрики и ядовитейшие пародии. В особенности отличался этим популярнейший сатирический журнал «Искра». Но окончательно обескуражила молодого поэта блистательная пародия Н. А. Добролюбова на самое нашумевшее стихотворение Случевского «Мои желания». Если поэт «Искры» В. Курочкин увидел в этой поэзии просто режущую слух бессмыслицу, то Добролюбов иронически трактовал молодого поэта как «гения общих мест», некоего реально существующего Козьму Пруткова, полного надутой велеречивости и мнимого глубокомыслия, детской наивности и претенциозности. Автор пародии чутко уловил уже выявившиеся особенности поэтической манеры Случевского и, как требовал того жанр, довел их до комической нелепости. Остальные критики и пародисты только вторили Добролюбову.

Удар был ошеломляющий, и неудивительно, что после таких сильнейших нападок Случевский замолчал, и надолго. Недаром позднее он с горечью писал об «успехов ранних острых отравах». Однако вся долгая жизнь поэта свидетельствует, что критика его ошеломила на время, но отнюдь не убила. Когда Случевский вернулся в 70-е годы в литературу и выступил с публичным чтением своих новых стихотворений, друг его Аполлон Майков восклицал, слушая поэта: «Не убили поэзию! Нет! Видно, истинного дарования не заругаешь до смерти!» Да, Случевский выдержал это жестокое испытание на прочность и жизнеспособность, что говорило о несомненной подлинности и внутренней силе его самобытного таланта.

Возникает естественный вопрос: почему передовая критика во главе с Добролюбовым так много внимания уделила молодому поэту, впервые опубликовавшему несколько стихотворений? Может быть, дело было в общественной позиции Случевского? Но он всецело разделял тогда идеи Добролюбова и Чернышевского и совсем не случайно оказался вскоре в рядах учившейся за границей русской революционно-демократической молодежи, и именно к нему обратился в 1862 году Тургенев, желая объясниться с молодежью по поводу Базарова и романа «Отцы и дети». Уже на склоне лет, будучи крупным чиновником и состоятельным человеком, поэт с восторгом говорил о радикальных идеалах своей молодости: «Подъем духа в шестидесятых годах был несравненно выше, чем в конце XIX столетия». То замечательное время борьбы идей и душевных порывов навсегда осталось для Случевского поэтической эпохой искренних увлечений, чистой и трепетной веры в высокие и гуманные идеалы, незабвенной порой первых радостей, «праздником жизни»:

Душа стремилась на простор,
Неслась могуществом порыва
Назло непрочному уму,
На звук какого-то призыва,
Бог весть зачем, бог весть к чему!

Нет, молодой Случевский консерватором не был, он жил идеями и страстями своего бурного времени. Другое привлекло в его стихо-

творениях винманне Добролюбова и остальных критиков — их форма, совершенно ни на что ие похожая, тяжеловесная, казавшаяся привыкшему к прежнему поэтическому строю слуху и вкусу отчаянио смелой иелепицей. Не понравилось нм и неожиданное у молодого человека кладбищенское настроение. Но именно о форму споткиулись сразу критики, ее шероховатостн легко подхватили н осмеяли пародисты.

И не в прозаизмах Случевского тут было дело, ибо ими после Некрасова трудио было кого-нибудь удивить. Рождалось новое поэтическое слово, поначалу косиоязычное, угловатое, наивное. За эту непривычность Случевский и был жестоко иаказаи. Одиако Аполлон Григорьев, Тургенев и Некрасов увидели в этих первых неуклюжих опытах подлинную и самобытную поэзию. Поэзия была, но поэзия особенная, и сегодня иас удивляющая сознательным «небрежением словом».

Судьба поколения соединила Константина Случевского с Яковом Полонским н Аполлоиом Майковым. Они эту общиость путн ощущалн постоянио, и Майков верно говорил: «Случевский еще иашего поколения или формации, хотя юнейший». А судьба этого поэтического поколения была трудной. Золотой век русской поэзии миновал, и уже невозможно было прежнее свободное содружество поэтов, когда каждая строчка у всех была иа виду и на слуху, винмательно выслушивалась н доброжелательио обсуждалась, доводилась до необходнмой ясностн и стройности. Для Случевского, Полоиского и Майкова не было уже этого творческого единеиия и требовательной школы общения, онн шли уедииеиными путями. Полонский как чистый лирнк выбрал мир песеииого слова, живую поэзию романса. Майков пошел по путн Батюшкова, тяготея к скульптурности и живописности, классическому идеалу. Дорога Случевского была другой.

Читая сегодня полное его собрание стихотворений, восхищаешься замечательными находками и вместе с тем дивишься многочисленным провалам. Константин Случевский — поэт неровный, иногда пренебрегающий элементарными требованиями языка и стихосложения.

Неправильные ударения, неожиданное введение в русский стих французского апострофа, столкновение несовместимых согласных и усечение не вмещающихся в строку слов — все здесь говорит о борьбе с языком, борьбе не всегда победоносной. Случевский с трудом преобразовывал хаос мыслей и слов в стройный поэтический космос.

В его стихотворениях часто бросается в глаза отсутствие писательского профессионализма, школы. Здесь нет характерной для пушкинской эпохи долгой и тщательной работы над поэтическим словом, над строкой и периодом. Казалось, сказал свое, кое-как подправил, а то и оставил так — и поспешил дальше. В этом весь Случевский, сравнивавший себя с неуклюжим колючим кактусом и писавший о своих стихотворениях:

Да, в этих очерках правдивых
Не скрыто мною ничего!
Черты в них — больше некрасивых,
А краски — серых большинство!

Не случайно поэт и философ Владимир Соловьев именовал его «невоспитанным талантом» и видел в поэзии Случевского «недостаточно критическое отношение автора к своему вдохновению». К сожалению, это правда, хотя, понятно, не вся.

Конечно, в этом «небрежении словом», в отсутствии писательского профессионализма сказались и долгое молчание Случевского, на протяжении многих лет работавшего в уединении и не печатавшегося, и известное понижение культуры русского стиха. Но вместе с тем это и особенность творческой натуры, своя манера и неповторимый стиль поэта. Без сомнения, Случевский обладал поэтическим слухом и эти свои на поверхности лежащие недостатки хорошо знал. Но, совершенствуя свою поэзию, не боролся с ними, явно считая эти недостатки своей индивидуальной особенностью.

Однако критики и поэты с этой особенностью дарования Случевского долго не могли примириться. С. А. Андреевский, например,

писал о поэте: «Он первый растрепал романтический стих до полного пренебрежения к деталям». А вечный труженик нашей поэзии, ученик французских неоклассических «парнассцев» Валерий Брюсов укорял своего старшего собрата: «Менее всего Случевский был художник. Он писал свои стихи как-то по-детски, каракулями, — не почерка, а выражений».

Значит, все дело в непривычной форме? Однако здесь стоит вспомнить, что Случевский был характерным представителем русской поэзии, для которой проблема формы, стиля, при ясном понимании всей ее важности, все же второстепенна. Главное для поэта — именно идеи и настроения, капитальные мысли, выражающие, пусть и субъективно, пафос времени и думы поколения.

И если его современника Афанасия Фета можно назвать поэтом чувства, то Константин Случевский — это именно поэт мысли. Правда, мысль его — горькая и тоскливая, отразившая душевный разлад. Однако надо всеми этими настроениями в конце концов одерживает верх вера Случевского в бессмертие и силу человеческой мысли. Замечательно его стихотворение «Памяти А. А. Григорьева», написанное в 1889 году после посещения могилы поэта на Митрофаньевском кладбище. Это именно гимн вечно живой мысли:

Но если где-нибудь, когда,
Во имя сердца и труда,
Во имя долгого страданья,
Глубоко-страстного призванья
Мысль и над смертию царит, —
Так это здесь!.. Григорьев спит
Сном непробудимым! Но живая
Его душа, вся огневая,
И сквозь металл, и сквозь гранит
Что день — то ярче проступает...
Да! Темень смерти свет рождает,
И почек будущей весны
Все ветви кладбища полны...

Мыслью движима вся поэзия Случевского. Нелишне будет напомнить, что поэт в 1865 году получил в знаменитом Гейдельбергском университете степень доктора философии и с полным правом упоминал в своих стихотворениях имена Канта, Фихте и Шопенгауэра. Но поэзия его не есть отвлеченное философствование по немецким образцам. Поэтическая мысль Случевского — живая, образная, критическая и обличающая, далекая от теоретической правильности, неподвижности и благообразия, здесь можно встретить и такой антипоэтический, казалось бы, образ, как «мыслей старые мозоли». И все же Случевский в уродливости и хаосе находит свою поэзию, добывая ее размышлением. Он зрячий и скорбящий певец жизни неидеальной, и стих, форма эту неидеальность и хаотичность бытия отобразили:

Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты...

Вот откуда происходит оригинальная поэтическая манера Константина Случевского, породившая столько пародий, критических нападок и непонимания. В основе ее лежат идеи и настроения эпохи перелома и личный опыт автора, опыт, принесший в его поэзию ноты трагизма и разуверения.

Конечно, столь самобытное миросозерцание оформилось не сразу. Осенью 1860 года Случевский покинул Академию генерального штаба, вышел в отставку и уехал за границу слушать лекции в лучших университетах Европы. Он стал заметной фигурой в среде русской революционно-демократической молодежи. Случевский спешил пополнить свои знания, с интересом встречал каждую нашумевшую книжку или же новую идею, мелькнувшую в той или иной науке. Тургенев, встречавшийся тогда с поэтом и переписывавшийся с ним, отметил в этом беспорядочном коллекционировании всех и всяческих новинок дилетантскую разбросанность и поверхностность и шутливо именовал Случевского «милейшим поэтом-живописцем-историком-

философом-экономистом-публицистом», впоследствии наделив этой страстью к новизне Семена Ворошилова, персонажа сатирического романа «Дым». И хотя персонаж этот — отнюдь не портрет поэта, все же приходится признать, что молодой и увлекающийся Случевский вместе с достоинствами передовой молодежи разделял и ее недостатки — самоуверенность, пристрастность и нетерпимость, поразительную доверчивость к модной книжке или учению.

Однако, разделяя вполне убеждения демократической среды, этот кадет «с золотой доски», отставной гвардеец, дворянин и поэт все же не мог до конца слиться с кружком энергичных разночинцев, превыше всего ценивших естественные науки и третировавших всякую поэзию, и в том числе Пушкина, в духе «нигилиста» Базарова. Мы мало знаем о зарубежном периоде жизни Случевского, однако ясно, что между ним и демократической молодежью постепенно назревали трения, разного рода взаимные неудовольствия и разочарования, в конце концов приведшие к решительному разрыву, отчасти напоминавшему известный раскол в редакции «Современника». И когда поэт вернулся в 1866 году на родину, он порвал с прежними друзьями и убеждениями и поступил на службу в самое ненавистное для демократических кругов учреждение — Главное управление по делам печати, прославившееся яростным преследованием «Современника» и других передовых журналов и газет. Более того, Случевский опубликовал серию резких полемических брошюр против Чернышевского и демократической критики. Это выступление бывшего демократа против прежних своих идейных вождей надолго превратило его в фигуру одиозную и помешало Случевскому вернуться в поэзию, хотя писать стихи он не переставал на протяжении всех этих лет.

Из его поэтических опытов той поры мало что сохранилось, но мы знаем, что в 1861 году стихотворения Случевского были отвергнуты журналами «Русский вестник» и «Время» и что его тогдашнюю поэзию Тургенев осуждал за холодность, вычурность, прозаизмы и «чрезвычайную странность звуков». Однако именно Тургенев поддержал поэта в его исканиях: «А со всем тем у вас есть физионо-

мия — следовательно: есть талаит... Надо трудиться, иадо его выработать жизнью, мыслью». Очевидио, что эти иеудачи и иеувереииость поэта в себе и правильиости своего пути были следствием глубочайшего идейиого кризиса, результатом «смеиы вех» и разочарования в прежиих идеалах.

Безусловно, это разочарование Случевского было вполне искреиним и совпало с общнм кризисом передового движения 60-х годов н иаступлеиием реакции. О миогом говорит его стихотворенне «Молодежи» (1871) с характериым предупреждеиием «Обмаиут вас!» и горестным рассказом о крушеиии своих юиошеских надежд:

И что ж?! Давно ль мы в жизиь вступали
И безупречиы, и честиы;
Трудились, ждали, соэдавали,
А повстречали — только сиы.

Однако не иадо видеть в этом решительиом разрыве с прошлым распространеиный в те трудиые времеиа переход из либералов в коисерваторы. Разочарование Случевского распространилось и иа философию, естествеииые иауки, искусство, общественную деятельность. Новые времеиа ои остро и болезиенно воспринял как глухую «тьму безвременья, сгущеиную веками», где уцелели лишь «остовы иадежд». Себя же Случевскнй осознал «последиим поэтом» этого безвремеиьи, его летописцем и судией:

Поет во мне ие гордость самомненьи...
Нет, плач души слагаетси в размер,
Одии из стоиов общего томлеиья
И безиадежиости всех чаяний, всех вер!

И в 90-е годы XIX столетия поэт отстаивал эту идею безвремеиья, переходиого периода: «Старые идеалы рушилнсь, чувствуется потребиость в иовых; иовые идеалы, иесомиеино, уже иосятся между нас, ио они не иашли своего Гоголи, своего Тургеиева, свое-

го Достоевского». Этот отрицательный пафос крушения всех надежд и идеалов и выразила мрачноватая, язвительная, во всем сомневающаяся поэзия Константина Случевского.

Легко объяснить этот пафос поэта личными неудачами или же тем обстоятельством, что он внимательно изучал книги немецких философов-пессимистов Шопенгауэра и Гартмана. Однако Случевский с редкой полнотой и точностью выразил здесь настроения нескольких поколений русских образованных людей, общее для многих чувство подавленности, разуверения и пессимизма, что подтверждалось и растущей волной самоубийств среди молодежи. Достаточно прочитать замечательную повесть Антона Павловича Чехова «Скучная история», чтобы понять, насколько распространено и устойчиво было это грустное и тягостное настроение в среде русской интеллигенции, характеризовавшейся не теми или иными идеями, а отсутствием таковых. К этим людям с разных позиций и с разным успехом взывали народовольцы, правительственные круги, Достоевский и Лев Толстой. Но выразили мысли и настроения этого «усталого поколения» совсем другие писатели — А. П. Чехов, В. М. Гаршин, поэты А. Н. Апухтин и А. А. Голенищев-Кутузов и, конечно же, зрелый Константин Случевский. Настроения эти были столь устойчивы, что и в начале XX века ими жила поэзия Иннокентия Анненского и Блока, проза Федора Сологуба и Леонида Андреева.

Случевский-поэт долго ждал своего времени и своего читателя. И, наконец, дождался. Эпоха 80—90-х годов стала порой его творческого расцвета и весьма широкой популярности. Выходят четыре книги стихотворений поэта и его итоговое шеститомное собрание сочинений. В 1902 году к ним присоединилось отдельное издание «Песен из Уголка», также вызвавшее понимание и отклик у молодых поэтов и читателей.

«Итак, подошло время и для Случевского. Содержание его поэзии оказалось современным, — оно соответствовало рефлектирующей и мечтающей, галлюцинирующей, разрозненной и хаотической современной душе», — писала критика. Над Случевским уже не смеялись, в его желчных стихотворениях искали и узнавали свои настроения студент и профессор, гимназист и образованный чиновник,

офнцер и курснстка. Прнчем прнвлекалн не только чувства, но и мысли, его капитальные выводы. Даже Тургенев, в это время весьма критическн относившнйся к поэту, пнсал ему в 1879 году из Бужнваля: «Ваш талаит настолько определнлся, что в совете Вы нуждаться не можете». Да, именно тогда поэт обрел наконец свою тему и голос, н время ему в этом помогло. Эпоха подводила итоги в самых разных сферах, н Случевскнй вполие сознательно стал поэтом итогов:

Мы у прошедшего воруем
Его завядшне цветы.

60—80-е годы былн порой расцвета буржуазной позитивнстской иаукн н техиики. Однако наука эта быстро выявила свою бескрылость н ограиичеииость, чуждый полета мечты механический материализм. Случевскнй смело вводнт в свою поэзию образы машин, работающнх двнгателей, проводов, теорию Дарвниа, термины геологни и этнографии, вслед за астрономамн и физикамн говорнт о «велнкой дробностн» расширяющейся Вселенной, о необходнмости взгляиуть иа мнр и человека в телескоп н микроскоп. Поэт сознает снлу наукн: «О, сколько правды в мертвеииостн этой!..» И тут же обрушивается на эту мертвенность, убнвающую целостиость и поэзню жнзнн н мешающую ученым-позитнвнстам сделать «главный вывод»:

Мир чувств не раб законов тяготеиья,
И у мечты закоиы есть свои;
Им власть дана, чтоб им вослед пробнлнсь
Ииых начал живучие струн,
Чтоб жнвы сталн н зашевелнлись
Все этн цнфры, меры н пан...

Наука уже разложила скорбную человеческую слезу на солн и воду, печальиый вздох трактовала как освобождеиие углекнслоты. Поэт ие прииимал этого слепого, механнческого матерналнзма н вндел в жнзин силу и двнженне, недоступные понимманню та-

кой науки, хотя и писал о них, используя образы науки и промышленности:

В живых струях бессчетных колебаний
Поет гигантское, как мир, веретено.

Это решительное и изобретательное разоблачение буржуазной науки — отнюдь не главная тема поэзии К. Случевского. Но она чрезвычайно для него характерна.

Случевский — поэт разоблачения, всюду видит он не живые лица, а намалеванные маски, не реальность, а театральные кулисы и декорация, мир же трактует как вселенский маскарад истории, этнографический музей, где меняются костюмы и обычаи, но не люди. Давно отзвучали либеральные восторги по поводу половинчатых реформ 60-х годов, новых судов и т. п. Случевский и здесь подводит черту, называя процедуру буржуазного суда присяжных «незрелой мысли пустотой» («На судоговоренье»). Высшее общество, правящая верхушка — тоже красиво раскрашенная оболочка, за которой пустота и гниль. Здесь поэт поднимается до пророчества:

Не дом стоит — стоят его подпоры;
Его прошедшее — насмешка и позор!
И может это все в одно мгновенье сгинуть...
И он развалится, блестящий старый дом...

Лжет даже поэт, вынужденный принять законы неподлинного мира: «У нас поэзия — афера». Современное ему искусство и особенно театр Случевский столь же решительно определяет как «больной фантазии больные порожденья», самообман творческих людей, живущих взаимными умилениями и юбилейными славословиями:

По смерти их, и это ясно,
Вослед великих пустосвятств,
Не хватит нам ста Пантеонов
И ста Вестминстерских аббатств.

Лжет женщииа, лукавая коломбина, предшествеиннца блоковских героянь, лгут чиновннк, адвокат, художяик, ученый. Для Случевского эта иавязчивая ложь и всеобщая неподлвиниость — зиамение времеяи: «Юродствующий век проходят над землей». Боги умерли, идея умерля, даже великая литература давит страшиой силой бесплотиых образов иа зыбкое, лишеииое самобытности мышлеине читателя-потребителя. Это существование показаио поэтом как иедолжиое, пустое и иищее духом, лишеииое корней, традиций и предаиия.

Когда отроют их средь будущей пустыии,
Смеиившей торжище, потомки ие найдут
Ни иеосмеянной во времени святыии,
Ни успокоеияых в художестве минут.

От столь всеобъемлющего разоблачения естествеи путь поэта к пророчеству, апокаляпсическому предсказаяию неизбежиой гибели этого траурного, неподляияого, зашедшего в тупик мира. И здесь Случевский достигает удввятельной убедительности, сялы обличения и прозорливости. В его стихотворениях много развалия, картни погибших циввлизаций, забвеняя я запустеиия. Рождается образ грядущей гибели старой Россни, ее иеизбежиой расплаты за ложь и ошибки:

Вижу я ясио: буря подходит...

Буря эта грянула, как известно, уже после смертн Случевского, но для него катастрофа старого злого мира была предрешеиа:

В умах людских, как язвы вскрытых,
Легеиды быль перерастут,
И по церквам царей убитых
Видеиья в поляочи пойдут!

На граяя двух веков Случевский был восторжеиио приият литературиой декадеитской молодежью, толпявшейся яа его поэтнческих вечерах по пятницам и видевшей в поэте своего предтечу, пев-

ца отчаяиья и безвремеиья. Одиако ои ие прельстился этими своекорыстными хвалами, вгляделся в лица и творчество своих молодых гостей и предрек их будущее:

То будет ломаиый народ
Борцов-полукалек,
Тех, кто собой завалят вход
В двадцатый, в лучший век...

Даже поздиий Блок предсказаи Случевским, иаписавшим страшиую и пророческую «Камариискую», предвосхищавшую «Двеиадцать» своей идеей грядущей расплаты:

Торопитесь! Будет поздно торопить
Сами стаиете копеечки просить...

Если на этих мрачиоватых мотивах поэзии Коистаитииа Случевского остаиовиться, что иногда и делали исследователи его творчества, то поэта очень легко представить вселенским пессимистом или же злорадным наблюдателем и описателем людских несовершенств, видевшим в жизии людей одно только «иепонятиое верченье краткосрочиых поселян». Но уже из этих скорбных и желчиых песеи, живущих напряженной мыслью о человеке и истории, ясио, что Случевский иикак не может быть причислеи к поэтам «чистого искусства», голубым певцам отвлечеииой красоты. Мыслитель ои был очеиь серьезиый, глубокий и культуриый и хорошо зиал, что и в сфере мысли действие рождает противодействие и что одиа идея здесь уравиовешивается и объясияется другой. Помимо разоблачеиия и желчиого отрицаиия в поэзии Коистаитииа Случевского есть другой пафос, иные иастроеиия и художествеиные ценности. Его отрицание и разочароваиие отиюдь не безграиичиы.

Бичуя эпоху безвременья и усталых, надломлеиных людей образоваииого общества, поэт вдруг оборачивается и видит совсем другого своего современиика, которого не может поиять, которому удивляется. Это все тот же былииный Микула Селяниювич, рус-

ский пахврь, мужик-сфникс, который держнт иа плечах своих Россию н кормит ее:

Все — дело рук его... Какая
В нем скромных мыслей простота!..
Он трндцать осеней н весен
К работе землю пробуждвл;
Вопрос о том, зачем все это, —
В нем никогда не возиикал.

Сразу заходит речь о главиом, об осиове, без которой все отрнцаиня н утверждеиия будут иеполиы и тщетиы. Но Случевскнй здесь далек от позицнн «кающегося интеллнгеита». Ои вндит в мужике, в народе главную движущую силу русской истории, перед лнцом которой должны умолкнуть все разногласня и жалобы образованиых сословий. В стнхотвореиии «Корона патриарха Ннкоив» показаи уиикальиый характер этой снлы, до поры до времеии заиятой трудом и своимн делами н только в переломиый момеит русской истории вдруг выступвющей вперед и делающей эту историю, снлы исправляющей н объединяющей:

Народ метет порой великим дуиовеньем...
Нвскучив разбирать, кто прав и кто велик,
Сквозь мысли лживые, с их долгим самомненьем,
Ои продвнгает вдруг свой затемиенный лик.
Народ... Народ... Ои сам сложил свое былое!
Ои дал историю! В ней все его права!

Это уже темв Достоевского, о «страшной правде» романов которого Случевскнй писал в стихотворенни, посвящениом памяти писателя. И это еще одна трвгедня поэта, вндевшего всю пропасть между лучшнми снламн культурного обществв и иародом:

Разных два мира в нас двух повстречались...
Камнем бы бросить... Кому и в кого?

В этом звключаются для Случевского будущне судьбы России, в этом и трагическая судьба его поэзии, жаждущей стать подлин-

но народной и понимающей всю иевозможность такого своего преображеиня. И все же его поэзня живет верой в это преображенне:

Но я желал бы всей душою
В стнхе таннствеино-жнвом
Жнть заодно с моей страною
Сердечной песин бытнем!
. . . .
Возникшей песни ие убить;
Ей сроков иет, ей нет предела,
И еслн песнь прошла в народ
И песню молодость запела, —
Такая песия не умрет!

Вместе с образом русского иарода прнходнт в поэзню Случевского и творнмая этнм иародом великая нсторня. Она живет в иародном преданни, которое поэт ценнт выше пнсьменных нсточннков.

Еще слагалися предаиья,
Чтобы бессмертной правдой быть, —

сказаио нм о «святой былн» Отечественной войны 1812 года.

У Случевского много стихотворений о русской нсторни, ее событнях, и любимый нсторическнй персоиаж его — Петр Первый. Ему поэт многое прощает: и кровавую расправу со стрельцами, н беспримериое расточнтельство народных жнзией н средств, н убненне собственного сыиа, царевича Алексея:

Мало ль что у иас бывало
С краю света, в нашей хате!

В Петре Случевский увидел и оценнл чнсто русскнй характер, неистовую и беспощадную энергню велнкого государственного ума, всем сословням и даже самому себе отказавшего в каких-либо правах и заставившего всех н прежде всего самого себя нсполнять только обязанностн и повнниости, не щадить живота своего для отечества:

Не для сладких сантиментов,
Не для временной забавы
Из своих тесал он мыслей
Основания державы!..
Как его, гиганта, мерить
Нашим маленьким аршином?

В Петре Случевского выплеснулась наружу народная сила, до поры до времени таившаяся во глубине России.

И все же сама Россия, ее судьбы представлялись поэту загадкой, обращенной в будущее, решить которую мог только новый Петр:

Какая пестрота и смесь сопоставлений?!
И та же все единая страна...
В чем разрешенье этих всех движений?
Где всем им цель? Дана ли им она?
Дана, конечно! Только не добиться,
Во что здесь жизни суждено сложиться!
Придется ей самой себя создать
И от истории ничем не поживиться,
И от прошедшего образчиков не брать.

В этих словах поэта нет никакого пессимизма, в них только вера, надежда и любовь к России.

У этой страны есть не только великое прошлое, но и великая литература. Есть у Случевского стихотворение «Новгородское предание», где мелькает тень Ивана Грозного и говорится о разгроме царем вольного Новгорода. Тема, любимая русскими поэтами, в особенности декабристами. Но у Случевского она получает свой поворот и неожиданное решение. Здесь показано, как из истории рождается поэзия. Добравшись с новгородским вечевым колоколом до Валдая, царь повелел его разбить:

Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,

И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор...

В бессмертном предании звучат история и вольность. Для Случевского такова вся русская поэзия, даже в безвременье и смутах находящая свои весомые темы и слова. Его часто называли поэтом осени и всяческого увядания, и в этом есть своя правда. Но именно Случевский сказал пророчески, что наша поэзия движется от весны к весне:

Конечно, пушкинской весною
Вторично внукам, нам, не жить:
Она прошла своей чредою
И вспять ее не возвратить.
То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.
Пусть в гармонических мотивах
Звучит родной нам русский стих,
Гудит в приливах и отливах,
Идет от мертвых и живых.

Случевского иногда изображали желчным резонером, пророчествующим в пустыне. Но сам он очень хорошо знал и видел русскую поэзию в ее развитии, понимал ее как страну, где «блуждают милые нам тени певцов, умолкнувших в свой срок». Все стихии этой поэзии были ему внятны. У Случевского есть даже иронический перепев знаменитых державинских строк «Я царь — я раб — я червь — я бог» и «Истину царям с улыбкой говорить»:

Я говорил порой с царями,
Глубоко падал и вставал,
Я богу пламенно молился,
Я бога страстно отрицал...

В антиромантическую эпоху он воспел романтизм, его простодушную, искреннюю поэзию, отразившую мир души отцов («Про старые годы»). В поэзии Случевского много «лермонтовских» тем и интонаций (см., например, позднее стихотворение «Лезгин»), но можно в ней встретить и переосмысленные пушкинские образы («Когда умру я, но не весь»).

И к современной ему поэзии Случевский не был безразличен, он знал в ней свое место, слышал общие для поэтов того времени интонации и иногда им вторил. Первым здесь вспоминается имя Тютчева. Не в том даже дело, что настроения и темы этих уединенных поэтов разных поколений неожиданно совпадают, о чем говорят их стихотворения на мотивы Микеланджело и Гейне, их пророчества, напряженный интерес к истории и политике, к идее России-сфинкса. Тютчев и Случевский — трагические мыслители в своей поэзии, способные в то же время на глубокий и смелый лиризм.

А рядом с этими печально-мудрыми интонациями есть в поэзии Случевского и открытая, размашистая манера веселого балладника Алексея Константиновича Толстого:

По крутым по бокам вороного
Месяц блещет, вовсю озарил!
Конь! Поведай мне доброе слово!
В сказках конь с седоком говорил!

Есть здесь и фетовское безглагольно-лирическое начало:

Ряд свиданий, ряд прощаний,
Ряд божественных ночей...

Не прошел Случевский и мимо романса, введенного в русскую лирику его другом Полонским и Аполлоном Григорьевым. Но он не просто повторил эту гитарную манеру поэтического письма, но и верно объяснил популярность и притягательную силу замечательных,

вечно трогающих сердце песенных переборов, без которых не смог обойтись в «Живом трупе» и строгий Толстой:

Что-то в вас есть бесконечно хорошее...
В вас отлетевшее счастье поет...
Тайные встречи и оргии шумные,
Грусть, неудача... пропавшие дни...
Любим мы, любим вас, песни безумные:
Ваши безумия нашим сродни!

Есть у него и «блоковское» начало — разумеется, до Блока возникшее и Блока в чем-то предопределившее: тема «Возмездия», малоизвестные строки типа «Зима... Усадьба... Ночь...», тянущие за собой знаменитое «Ночь, улица, фонарь, аптека», мысль о том, что покой нам только снится («На чужбине»). Непонятен без Случевского и замкнутый и трагичный Иннокентий Анненский с его петербургской тоской.

Поэзия Константина Случевского отнюдь не оторвана от предшествующей, современной ей и последующей русской литературы и может быть правильно прочитана только в историко-литературном контексте того времени. Нельзя ее понять до конца и без общелитературных идей и тенденций эпохи, и прежде всего без прозы и публицистики Достоевского, о котором Случевский написал брошюру и памяти которого посвятил следующее коротенькое стихотворение:

Часто с тобою мы спорили...
Умер! Осилить не мог
Сердцем правдивым и любящим
Мелких и крупных тревог.

Кончились споры. Знать, правильней
Жил ты, не вкривь и не вкось!
Ты победил, Галилеянин! —
Сердце твое порвалось...

Поэзия Случевского являет собой разительный контраст с его внешностью, образом жизни, общественным положением, о чем не раз говорилось и писалось. Он служил в министерствах внутренних дел и государственных имуществ, а с 1891 года редактировал официозную газету «Правительственный вестник». В свое время Тургенев в сердцах пожелал молодому Случевскому дослужиться до генеральского чина, и тот дослужился — стал тайным советником, камергером, гофмейстером императорского двора. Из-под борта его сюртука выглядывали крупные орденские звезды, среди знакомых наряду с Достоевским, Тургеневым, Иваном Горбуновым и актрисой Савиной были и всесильный К. П. Победоносцев и будущий премьер-министр С. Ю. Витте. Золотые очки, солидный строгий костюм, холеные усы и бородка — все это являло облик штатского генерала, чиновника высшего ранга. «Это был по внешности настоящий петербургский чиновник. Таким можно было бы сыграть мужа Анны Карениной», — вспоминала о Случевском переводчица Т. Л. Щепкина-Куперник, бывавшая на его знаменитых литературных «пятницах», где встречались литераторы разных поколений и направлений. Никак не верилось, что этот солидный петербуржец мог вдохновенно пророчествовать о грядущей революции и желать гибели старому миру угнетения.

Поэт знал, что главное в его жизни и судьбе не чины и звезды, а совсем другое — сила живого песнопенья. Наносное ушло, а главное осталось, и Случевский это понимал:

Но, будет некий день... Нас всех, кто
здесь — не станет...
Забудутся черты... Замрет бесследно речь...
Тогда, сквозь тьму годов, портрет в строках —
проглянет...
Его — ни затерять, ни разорвать, ни сжечь!

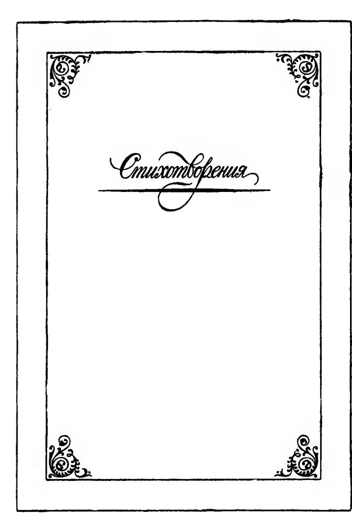
Лучшее в обширном литературном наследии Константина Случевского и сегодня не потеряло своего значения и художественной силы. В этих строках проглядывает портрет художника талантливо-

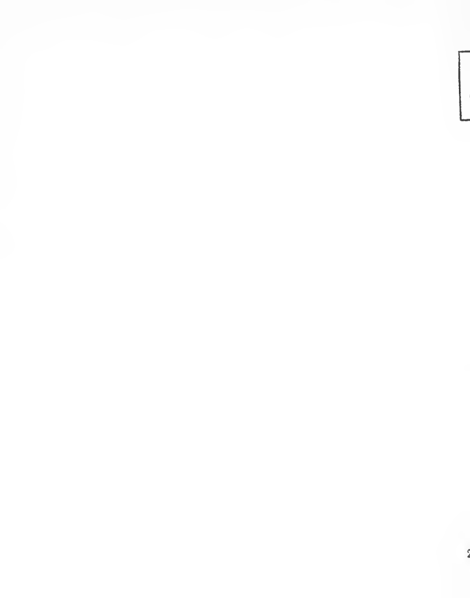
го, мятущегося, трагического, очень неровного и противоречивого, но всегда искреннего. Есть в них и отпечаток времени, приметы той трудной переходной эпохи. Не стоит забывать: это к нам обращался поэт сквозь столетие со своим посланием:

Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идет,
Где можно — даст успокоенье
И никогда ни в чем не лжет.

Мы должны принять этот дар.

В. И. Сахаров


Стихотворения



Ранние стихотворения · 1857 · 1860

* * *

Я видел свое погребенье.
Высокие свечи горели,
Кадил непроспавшийся дьякон,
И хриплые певчие пели.

В гробу иа атласной подушке
Лежал я, и гости съезжались,
Отходиую кончил священиик,
Со миою родные прощались.

Жена в интересном безумьи
Мой сморщеииый лоб целовала
И, крепом красиво прикрывшись,
Кузену о чем-то шептала.

Печальиые сестры и братья
(Как в иас иепонятиа природа!)
Рыдали при радостиой встрече
С четвертою частью дохода.

В раздумьи, насупивши брови,
Стояли мои кредитóры,
И были и мутиы и страшиы
Их дикоблуждавшие взоры.

2 Заказ 1191

За дверью молились лакеи,
Прощаясь с потерянным местом,
А в кухне объевшийся повар
Возился с поднявшимся тестом.

Пирог был удачен. Зарывши
Мои безответные кости,
Объелись на сытных поминках
Родные, лакеи и гости.

В МОРОЗ

Под окошком я стою
И под нос себе пою,
И в окошко я гляжу,
И от холода дрожу.

В длинной комнате светло,
В длинной комнате тепло.
Точно сдуру на балу,
Тени скачут по стеклу.

Под окошками сидят,
Да в окошки не глядят,
Знать, на улицу в окно
И глядеть-то холодно́.

У дверей жандарм стоит,
Звонкой саблею стучит,
Экипажи стали в ряд,
Фонари на них горят.

А на небе-то черно,
А на улице темно.
И мороз кругом трещит...
Был и я когда-то сыт.

ИЗ ГЕЙНЕ

В ночь родительской субботы,
Трое суток пропостившись,
Приходил я на кладбище,
Причесавшись и побрившись.

Знаю я, кому придется
В этот год спуститься в землю,
Кто из смертных, из живущих,
Кувырнется, захлебнется.

Кто-то лысый — полосатый,
В красных брюках, в пестрых перьях,
Важно шел петушьим шагом,
Тонконогий и пузатый.

Кто-то длинный, очень длинный,
В черном фраке, в черной шляпе,
Шел, размашисто шагая,
Многозвездный, многочинный.

Кто-то, радостями съеден,
В туго стянутом корсете,
Раздушен и разрумянен,
Проносился вял и бледен.

Шли какие-то мундиры,
Камергеры, гоф-фурьеры,
Экс-жандармы, виц-министры,
Пехотинцы, кирасиры.

Шли замаранные люди,
Кто в белилах, кто в чернилах,
Шли забрызганные грязью,
Кто по шею, кто по груди.

Шли — и в зёмлю опускались...
Громко каркали вороны,
На болоте выла вьюга
И лягушки откликались.

НА КЛАДБИЩЕ

Я лежу себе на гробовой плите,
Я смотрю, как ходят тучи в высоте,
Как под ними быстро ласточки летят
И на солнце ярко крыльями блестят.
Я смотрю, как в ясном небе надо мной
Обнимается зеленый клен с сосной,
Как рисуется по дымке облаков
Подвижной узор причудливых листов.
Я смотрю, как тени длинные растут,
Как по небу тихо сумерки плывут,
Как летают, лбами стукаясь, жуки,
Расставляют в листьях сети пауки...

Слышу я, как под могильною плитой
Кто-то ежится, ворочает землей,
Слышу я, как камень точат и скребут
И меня чуть слышным голосом зовут:
«Слушай, милый, я давно устал лежать!
Дай мне воздухом весенним подышать,
Дай мне, милый мой, на белый свет взглянуть,
Дай расправить мне придавленную грудь.
В царстве мертвых только тишь да темнота,
Корни цепкие, да гниль, да мокрота,
Очи впавшие засыпаны песком,
Череп голый мой источен червяком,
Надоела мне безмолвная родня,
Ты не ляжешь ли, голубчик, за меня?»

Я молчал и только слушал: под плитой
Долго стукал костяною головой,
Долго корни грыз и землю скреб мертвец,
Копошился и притихнул наконец.
Я лежал себе на гробовой плите,
Я смотрел, как мчались тучи в высоте,
Как румяный день на небе догорал,
Как на небо бледный месяц выплывал,
Как летали, лбами стукаясь, жуки,
Как на травы выползали светляки...

* * *

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

Бьется весело в гранит,
Вихри завивает
И, метелицей гудя,
Плачет да рыдает.

Под мостами свищет он
И несет с разбега
Белогрудые холмы
Молодого снега.

Под дровнишки мужика
Всё ухабы сует,
Кляче в старые бока
Безотвязно дует.

Он за валом крепостным
Воет жалким воем

На соборные часы
С их печальным боем:

Много близких голосов
Слышно в песнях ваших,
Сказок муромских лесов,
Песен дедов наших!

Ходит ветер избочась
Вдоль Невы широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой.

* * *

Ночь. Темно. Глаза открыты,
И не видят, но глядят;
Слышу, жаркие ланиты
Тонким бархатом скользят,
Мягкий волос, набегая,
На лице моем лежит,
Грудь, тревожная, нагая,
У груди моей дрожит.
Недошептанные речи,
Замиранье жадных рук,
Холодеющие плечи...
И часов тяжелый стук.



НАС ДВОЕ

Никогда, нигде один я не хожу,
Двое нас живут между людей:
Первый — это я, каким я стал на вид,
А другой — то я мечты моей.

И один из нас вполне законный сын;
Без отца, без матери другой;
Вечный спор у них и ссоры без конца;
Сон придет — во сне всё тот же бой.

Потому-то вот, что двое нас,— нельзя,
Мы не можем хорошо прожить:
Чуть один из нас устроится — другой
Рад в чем может только б досадить!

* * *

Да, я устал, устал, и сердце стеснено!
О, если б кончить как-нибудь скорее!
Актер, актер... Как глупо, как смешно!
И что ни день, то хуже и смешнее!
И так меня мучительно гнетут
И мыслей чад, и жажда снов прошедших,
И одиночество... Спроси у сумасшедших,
Спроси у них — они меня поймут!

* * *

За то, что вы всегда от колыбели лгали,
А может быть, и не могли не лгать;
За то, что, торопясь, от бедной жизни брали
Скорей и более, чем жизнь могла вам дать;

За то, что с детских лет в вас жажда идеала
Не в меру чувственной и грубою была,
За то, что вас печаль порой не освежала,
Путем раздумия и часу не вела;

Что вы не плакали, что вы не сомневались,
Что святостью труда и бодростью его
На новые труды идти не подвизались,-
Обманутая жизнь не даст вам ничего!

В ЛАБОРАТОРИИ

Из темноты углов ее молчащих
И из приборов, всюду видных в ней,
Из книг ученых, по шкапам стоящих,
Не вызвать в жизнь ни духов, ни теней!
Сквозь ряд машин, вдоль проволок привода
Духовный мир являться не дерзнет,
И светлый сильф в объятьях кислорода
В соединеньи новом пропадет...
О, сколько правды в мертвенности этой!
Но главный вывод безответно скрыт!
Воображение — бред мысли подогретой,
Зачем молчишь ты и душа молчит?
Лги, лги, мечта, под видом убежденья —
Не всё в природе цифры и паи,
Мир чувств не раб законов тяготенья,

И у мечты закоиы есть свои;
Им власть даиа, чтоб им вослед пробились
Иных начал живучие струи,
Чтоб живы стали и зашевелились
Все эти цифры, меры и паи...

ФОРМЫ И ПРОФИЛИ

Как миого очерков в природе? Сколько их?
От темиых иедр земли до края иебосклоиа,
От дией граиитов и осадков меловых
До мысли Дарвииа и до его закоиа!

Как миого профилей проходит в облаках,
В живой игре теией и всяких освещеиий;
Каких иет очерков в моллюсках и цветах,
В обличиях людей, иародов, поколеиий?

А сказки сиов людских? А грезы всяких свойств
Болезней и смертей? А бред галлюцииата?
Виденья мрачные психических расстройств,—
Всё братья младшие в груди большого брата!

А в творчестве людском? О иет! Не огляиуть
Всех типов создаииых и тех, что иародятся;
Людское творчество — как в иебе Млечиый Путь:
В ием иовые миры без устали родятся!

Миры особые в одном большом миру!
А все прошедшее, все, что ушло в былое...

Да, бесконечности одной не по нутру
Скоплять все мертвое и сохранять живое.

Ей, бесконечности, одной не совладать
С великой дробностью такого содержанья,
Когда бы в помощь ей бессмертья не придать
И неустанного, тупого ожиданья.

Но что мудренее всего, так это — то,
Что ни в одной нз форм нет столько хлебосольства,
Чтоб в ней сказалися свобода, мир, довольство!..
И счастья полного не обретал никто!

В БОЛЬНИЦЕ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ

Еще однн усталый ум погас...
Бедняк играет глупыми словамн...
Смеется!.. Это он осменвает нас,
Как в дни былые был осмеян нами.

Слеза мирская в людях велика!
Велик и смех... Безумные плодятся...
О, берегнтесь вы, кому так жизнь легка,
Чтобы с безумцем вам не побрататься!

Чтоб тот же мрак не опустился в вас;
Он ближе к нам, чем кажется порою...
Да кто ж, понстине, скажите, кто из нас
За долгий срок не потемнел душою?

LUX AETERNA[1]

Когда свет месяца бесстрастно озаряет
Заснувший ночью мир и всё, что в нем живет,
Порою кажется, что свет тот проникает
К нам, в отошедший мир, как под могильный свод.

И мнится при луне, что мир наш — мир загробный,
Что где-то, до того, когда-то жили мы,
Что мы — не мы, послед других существ, подобный
Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы.

И мы снуем по ней какими-то тенями,
Чужды грядущему и прошлое забыв,
В дремоте тягостной, охваченные снами,
Не жизнь, но право жить как будто сохранив...

В КИЕВЕ НОЧЬЮ

Спит пращур городов! А я с горы высокой
Смотрю на очерки блестящих куполов,
Стремящихся к звездам над уровнем домов,
Под сенью темною, лазурной и стоокой.
И Днепр уносится... Его не слышу я,—
За далью не шумит блестящая струя.

О нет! Не месяц здесь живой красе причина!
Когда бы волю дать серебряным лучам
Скользить в безбрежности по темным небесам,
Ты не явилась бы, чудесная картина,
И разбежались бы безмолвные лучи,
Чтоб сгинуть, потонуть в неведомой ночи.

---

[1] Вечный свет *(лат.)*. — *Ред.*

Но там, где им в пути на землю пасть случилось,
Чтобы светить на то, что в тягостной борьбе,
Так или иначе, наперекор судьбе,
Бог ведает зачем, составилось, сложилось,—
Иное тем лучам значение иметь:
В них мысль затеплилась! Ей пламенем гореть!

Суть в созданном людьми, их тяжкими трудами,
В каменьях, не в лучах, играющих на них,
Суть в исчезаньи сил, когда-то столь живых,
Сил, возникающих и гибнущих волнами,—
А кроткий месяц тут, конечно, ни при чем
С его бессмысленным серебряным лучом.

* * *

Да, нет сомненья в том, что жизнь идет вперед,
И то, что сделано, то сделать было нужно.
Шумит, работает, надеется народ;
Их мелочь радует, им помнить недосужно...

И всё же холодно и пусто так кругом,
И жизнь свершается каким-то смутным сном,
И чуется сквозь шум великого движенья
Какой-то мертвый гнет большого запустенья;

Пугает вечный шум безумной толчеи
Успехов гибнущих, ненужных начинаний
Людей, ошибшихся в избрании призваний,
Существ, исчезнувших, как на реке струи...

Но не обманчиво ль то чувство запустенья?
Быть может, устают, как люди, поколенья,
И жизнь молчит тогда в каком-то забытьи.

Она, родильница, встречает боль слезами
И ловит бледными, холодными губами
Живого воздуха ленивые струи,
Чтобы, заслышав крик рожденного созданья,
Вздохнуть и позабыть все, все свои страданья!

* * *

Я задумался и — одинок остался;
Полюбил я — жизнь великой степью стала;
Дружбу я узнал и — пламя степь спалило;
Плакал я и — василиски нарождались.

Стал молиться я — пошли по степи тени;
Стал надеяться и — свет небес погаснул;
Проклял я — застыло сердце в страхе;
Я заснул — но не нашел во сне покоя...

Усомнился я — заря зажглась на небе,
Звучный ключ пробился где-то животворный,
И по степи, неподвижной и алкавшей,
Поросль новая в цветах зазеленела...

БУДУЩИМ МОГИКАНАМ

Да, мы, смирясь, молчим... в конце концов —
бесспорно!..
Юродствующий век проходит над землей;
Он развивает ум старательно, упорно
И надсмехается над чувством и душой.

Ну, что ж? Положим так, что вовсе не позорно
Молчать сознательно, но заодно с толпой;

В веселье чувственности сытой и шальной
Засмеивать печаль и шествовать покорно!

Толпа — всегда толпа! В толпе тебя не видно;
В могилу заодно сойти с ней не обидно;
Но каково-то тем, кому судьба — стареть,

И ждать, как подрастут иные поколенья
И окружат собой их, ждущих отпущенья,
Последних могикан, забывших умереть!

* * *

Скажите дереву: ты перестань расти,
Не оживай к весне листами молодыми,
Алмазами росы на солнце не блести
И птиц не осеняй с их песнями живыми;

Ты не пускай в земле питательных корней,
Их нежной белизне не спорить с вечной тьмою...
Взгляни на кладбище кругом гниющих пней,
На сушь валежника с умершею листвою.

Всё это, были дни, взрастало, как и ты,
Стремилось в пышный цвет и зрелый плод давало,
Ютило песни птиц, глядело на цветы,
И было счастливо, и счастье ожидало.

Умри! Не стоит жить! Подумай и завянь!
Но дерево растет, призванье совершая;
Зачем же людям, нам, дано нарушить грань
И жизнь свою прервать, цветенья не желая?

* * *

Где только крик какой раздастся иль стенанье —
Не все ли то равно: родной или чужой —
Туда влечет меня неясное призванье
Быть утешителем, товарищем, слугой!

Там ищут помощи, там нужно утешенье,
На пиршестве тоски, на ша́баше скорбей,
Там страждет человек, один во всем твореньe,
Крушась сознательно в волнении зыбей!

Он делает круги в струях водоворота,
Бессильный выбраться из бездны роковой,
Без права на столбняк, на глупость идиота,
И без виновности своей или чужой!

Ему дан ум на то, чтоб понимать крушенье,
Чтоб обобщать умом печали всех людей
И чтоб иметь свое, особенное мненье
При виде гибели, чужой или своей!

* * *

Где только есть земля, в которой нас зароют,
Где в небе облака свои узоры ткут,
В свой час цветет весна, зимою вьюги воют,
И отдых сладостный сменяет тяжкий труд.

Там есть картины, мысль, мечтанье, наслажденье,
И если жизни строй и злобен и суров,
То все же можно жить, исполнить назначенье;
А где же нет земли, весны и облаков?

Но если к этому прибавить то, что было,
Мечты счастливые и встречи прежних лет,
Как друг за дружкою то шло, то проходило,
Такая-то жила, такой-то не был сед;

Как с однолетками мы время коротали,
Как жизни смысл и цель казалися ясней,—
Вы вновь слагаетесь, разбитые скрижали
Полузабывшихся, но не пропавших дней.

В ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

За стеклами шкапов виднеются костюмы;
Пращи и палицы и стрелы дикарей,
Ряд масок с перьями, с хвостами льва и пумы,
С клыками, с камнями в отверстиях очей!

Большие чучела в смешных вооруженьях,
Ежи какие-то от головы до пят,
Рассчитаны на то, чтобы пугать в сраженьях,—
Совсем стесняющий и пресмешной наряд.

Что ж? Разница не то чтобы совсем большая:
Такое пугало в колючках и ножах —
И страны целые от края и до края,
Одетые в металл, все в пушках и штыках.

Там — человек один; здесь — целые народы,
Себе и всем другим мешающие жить...
Но что же за шкапы им нужно, что за своды,
Чтобы со временем в музеи разместить?

ГОЛОВА РОБЕСПЬЕРА

На полках одного из множества музеев
Заметен длинный ряд голов больших злодеев,
Убийц, разбойников, внушавших людям страх
И успокоившихся в петлях, на кострах.
Пестро раскрашенные лица восковые
Глядят из-под стекла как будто бы живые,
И веет холодом и затхлостью гробов
От блещущих очей и выкрашенных лбов.

Но между тех голов, и лысых, и косматых,
Безусых стариков и женщин бородатых,
Как будто в чуждую среду занесена,
Заметнее других покоится одна.
Скула и челюсти жестоко перебиты,
Но зоркие глаза бестрепетно открыты,
В них неожиданный, негаданный покой:
Глядят — удивлены, познавши мир иной...

Нет, не разбойник ты! Ты кровью обливался
За то, что новый склад судеб тебе мечтался,
И ты отравлен был чудовищной мечтой
С ее безжалостной ужасной простотой —
Но силой этой же чудовищной мечты,
Сказавшейся в другом, в свой срок погиб и ты.

НА СУДОГОВОРЕНЬЕ

Там круглый год, почти всегда,
В угрюмом здании суда,
Когда вершить приходит суд,
Картины грустные встают;
Встают одна вослед другой,

С неудержимой быстротой,
Из мыслей, слов и дел людских,
В чертах, до ужаса живых...

И не один уж ряд имен
В синодик скорбный занесен,
И не с преступников одних
Спадают вдруг личины их;
Простой свидетель иногда
Важней судимых и суда;
Важней обоих их порой
Мы сами — в общем, всей толпой!

Но в грудах всяких, всяких дел:
Подлогов, взломов, мертвых тел,
Бессильной воли, злых умов,
Уродства чувств и фальши слов
И бесконечных верениц
Холодных душ и нервных лиц,—
Заметна общая черта:
Незрелой мысли пустота!

ВОПЛОЩЕНИЕ ЗЛА

Читали ль вы когда, как Достоевский страждет,
Как в изученьи зла запутался Толстой?
По людям пустозвон, а жизнь решений жаждет,
Мышленье блудствует, безжалостен закон...
Сплелись для нас в венцы блаженства и мученья,
Под осененьем их дают морщины лбы;
Как зримый призрак их, свой венчик отпущенья
Уносим мы с собой в безмолвные гробы.
Весь смутный бред страстей, вся тягота угара,

Весь жар открытых ран, все ужасы, вся боль —
В могилах гасятся... Могилы — след пожара —
Они, в конце концов, счастливая юдоль!

А все же надобно бороться, силы множить,
И если зла нельзя повсюду побороть,
То властен человек сознательно тревожить
Его заразную, губительную плоть.
Пуская мысль на мысль, деянье на деянье,
В борьбе на жизнь и смерть слагать свои судьбы...
Ведь церковь божия, вещая покаянье,
Не отрицает прав возмездья и борьбы.

Зло не фантастика, не миф, не отвлеченность!
Добро — не звук пустой, не призрак, не мечта!
Все древле-бывшее, вся наша современность
Полна их битвами и кровью залита.
Ни взвесить на весах, ни сделать измеренья
Добра и зла — нельзя, на то нет средств и сил.

Забавно прибегать к чертам изображенья;
Зачем тут — когти, хвост, Молох, Сатанаил?
Легенда древняя зло всячески писала,
По-своему его изображал народ,
Испуганная мысль зло в темноте искала,
В извивах пламени и в недрах туч и вод.
Зачем тут видимость, зачем тут воплощенья,
Явленья демонов, где медленно, где вдруг —
Когда в природе всей смысл каждого движенья —
Явленье зла, страданье, боль, испуг...
И даже чистых дум чистейшие порывы
Порой отравой зла на смерть поражены,
И кажутся добры, приветливы, красивы
Все ухищрения, все козни сатаны.

Как света луч, как мысль, как смерть, как тяготеиье,
Как холод и тепло, как жизиь цветка, как звук —
Зло несомненно есть. Свидетель — все творенье!
Тут временный пробел в могуществе наук:
Оии покажут зло когда-иибудь на деле...
Но был бы человек и жалок, и смешон,
Признав тот облик зла, что некогда воспели
Даит, Мильтон, Лермонтов, и Гете, и Байрон!

Меияются года, мечты, народы, лица,
Но вся земная жизнь, все, все ее судьбы —
Одна, единая, мельчайшая частица
Борьбы добра и зла и следствий той борьбы!
На Патмосе, в свой день, великое виденье
Один, из всех людей, воочию видал —
Борьбы добра и зла живое напряженье...
Пал ниц... но — призванный писать — живописал!

В КОСТЕЛЕ

Толпа в костеле молча разместилась.
Гудел орган, шла мощная кантата,
Трубили трубы, с канцеля светилось
Седое темя толстого прелата;
Стуча о плиты тяжкой булавою,
Ходил швейцар в галунном красном платье;
Над алтарем, высоко над стеною,
В тени видиелось Рубенса «Распятье»...

Картиина цеииая лишь по частям видна:
Христос, с черневшей раной прободенья,

Едва виднелся в облаке куренья;
Ясней всего блистали с полотна
Бока коня со всадником усатым,
Ярлык над старцем бородатым
И полногрудая жена...

НА РАУТЕ

Людишки чахлые,— почти любой с изъяном!
Одно им нужно: жить и не тужить!
Тут мальчик-с-пальчик был бы великаном,
Когда б их по уму и силе чувств сравнить.
А между тем все то, что тешит взоры,
Все это держится усильями подпор:
Не дом стоит — стоят его подпоры;
Его прошедшее — насмешка и позор!
И может это все в одно мгновенье сгинуть,
Упорно держится бог ведает на чем!
Не молотом хватить,— на биржу вексель
кинуть —
И он развалится, блестящий старый дом...

В ТЕАТРЕ

Они тень Гамлета из гроба вызывают,
Маркиза Позы речь на музыку кладут,
Христа Спасителя для сцены сочиняют,
И будет петь Христос так, как и те поют.

Уродов буффонад с хвостатыми телами,
Одетых в бабочек и в овощи земли,
Кривых подагриков с наростами, с горбами
Они на божий свет, состряпав, извлекли.

Больной фантазии больные порожденья,
Одно других пошлей, одно других срамней,
Явились в мир искусств плодами истощенья
Когда-то здравых сил пролгавшихся людей.

Толпа велит смотреть. Причиною понятной
Все эти пошлости нетрудно объяснить:
Толпа в нелепости, как море необъятной,
Нелепость жизни жаждет позабыть.

* * *

Да, трудно избежать для множества людей
Влиянья творчеством отмеченных идей,
Влиянья Рудиных, Раскольниковых, Чацких,
Обломовых! Гнетут!.. Не тот же ль гнет цепей,
Но только умственных, совсем не тяжких,
братских...
Художник выкроил из жизни силуэт;
Он, собственно, ничто, его в природе нет!
Но слабый человек, без долгих размышлений,
Берет готовыми итоги чуждых мнений,
А мнениям своим нет места прорасти,—
Как паутиною все затканы пути
Простых, неломаных, здоровых заключений,
И над умом его — что день, то гуще тьма
Созданий мощного, не своего ума...

Женщина и дети

* * *

Словно как лебеди белые
Дремлют и очи сомкнули,
Тихо качаясь над озером,—
Так ее чувства уснули...

Словно как лотосы нежные,
Лики сокрыв восковые,
Спят над глубокой пучиною,—
Грезы ее молодые.

Вы просыпайтеся, лебеди,
Троньте струю голубую!
Вы раскрывайте же, лотосы,
Вашу красу восковую!

В небе заря, утро красное...
Здесь я... и жду пробужденья,
Светом любви озаряемый
В тихой мольбе песнопенья.

ПЕСНЯ ЛУННОГО ЛУЧА

Светлой искоркой в окошко
Месяц к девушке глядит...
«Отвори окно немножко»,—
Месяц тихо говорит.

«Дай прилечь вдоль белых складок
Гостю, луниому лучу,
Верь мне, все придет в порядок,
Чуть иад сердцем посвечу!

Успокою все сомненья,
Всю печаль заговорю,
Все мечты, все помышленья,
Даже сиы посеребрю!

Что увижу, что замечу,
Я и звездам не шепну,
И вернусь к заре навстречу,
Побледневши, на луну...»

* * *

Будто месяц с шатра голубого,
Ты мне в душу глядишь, как в ручей...
Ои струится, журча бестолково
В чистом золоте горних лучей.

Искры блещут, что риза живая...
Как был темен и мрачеи родник —
Как зажегся ручей, отражая
Твой живой, твой трепещущий лик!..

* * *

О, если б мне хоть только отраженье,
Хоть слабый свет твоих чудесных снов,
Мне засветило б в сердце вдохновенье,
Взошла заря над теменью годов!

В струях отзвучий ярких песнопений,
В живой любви с тобой объединен,
Как мысль, как дух, как бестелесный гений,
От жизни взят — я перешел бы в сон!

* * *

Погас заката золотистый трепет...
Звезда вечерняя глядит из облаков...
Лесной ручей усилил робкий лепет
И шепот слышится от темных берегов!

Недолго ждать, и станет ночь темнее,
Зажжется длинный ряд всех, всех ее лампад,
И мир заснет... Предстань тогда скорее!
Пусть мы безумные... Пускай лобзанья — яд!

* * *

Ты нежней голубки белокрылой,
Ты — рубин блестящий, огневой!
Бедный дух мой, столько лет унылый,
Краской жизни рдеет пред тобой.

В тихом свете кроткого сиянья,
Давних дней в прозрачной глубине

Возникают снова очертанья
Прежних чувств, роившихся во мне.

Можно ль верить — верить им не смеет! —
Будто этот наших чувств расцвет —
Будет день — пройдет и побледнеет,
Погрузившись в мертвый холод лет...

* * *

Когда, приветливо и весело ласкаясь,
Глазами, полными небесного огня,
Ты, милая моя, головкой наклоняясь,
Глядишь на дремлющего в забытьи меня;

Струи младенческого, свежего дыханья
Лицо горячее мне нежно холодят,
И сквозь виденья сна и в шепоте молчанья
Сердца в обоих нас так медленно стучат,—

О, заслони, закрой головкою твоею
Весь мир, прошедшее, смысл завтрашнего дня,
Мечту и мысль... О, заслони ты ею
Меня, мой друг, от самого меня...

* * *

Мне ее подарили во сне;
Я проснулся — и нет ее! Взяли!..
Слышу: ходят часы на стене,—
Встал и я, потому что все встали.

И брожу я весь день, как шальной,
И где вижу, что люди смеются,—
Мнится мне: это смех надо мной,
Потому что нельзя мне проснуться!

НЕВЕСТА

В пышном гробе меня разукрасили,—
А уж я ли красой не цвела?
Восковыми свечами обставили,—
Я и так бесконечно светла!

Медью темной глаза придавили мне,—
Чтобы глянуть они не могли;
Чтобы сердце во мне не забилося,
Образочком его нагнели!

Чтоб случайно чего не сказала я,
Краткий срок положили — три дня!
И цветами могилу засыпали,
И цветы придушили меня...

* * *

Я ласкаю тебя, как ласкается бор
Шумной бурею, в темень одетой!
Налетает она, покидая простор,
На устах своих с песней запетой.

Песня бури сильна! Чуть в листву залетит —
Жизнь лесную до недр потрясает,
Рвет умершую ветвь, блеклый лист не щадит,
Всё отжившее наземь кидает...

И ты бурю за песню ее не кори,
Нет в ней злобы, любви к разрушенью:
Очищает прогалины краскам зари
И простор соловьиному пенью...

* * *

Не погасай хоть ты,— ты, пламя золотое,
Любви негаданной последний огонек!
Ночь жизни так темна, покрыла все земное,
Все пусто, все мертво, и ты горишь не в срок!
Но чем темнее ночь, сильней любви сиянье;
Я на огонь иду, и я идти хочу...
Иду... Мне все равно: свои ли я желанья,
Чужие ль горести в пути ногой топчу,
Родные ль под ногой могилы попираю,
Назад ли я иду, иду ли я вперед,
Неправ я или прав,— не ведаю, не знаю
И знать я не хочу! Меня судьба ведет...
В движеньи этом жизнь так ясно ощутима,
Что даже мысль о том, что и любовь — мечта,
Как тысячи других, мелькает мимо, мимо,
И легче кажутся и мрак, и пустота...

* * *

Весла спустив, мы катились, мечтая,
Сонной рекою по воле челна;
Наши подвижные тени, качая,
Спать собираясь, дробила волна.

Тени росли, удлиняясь к востоку,
Вышли на берег, на пашни, на лес —

И затерялись, незримые оку,
Где-то, должно быть, за краем небес...

Тени! Спасибо за то, что пропали!
Много бы вас разглядело людей;
Слишком бы много они увидали
В трепетных очерках этих теней...

* * *

Тебя он в шутку звал старушкой,
Тобою жил для добрых дел,
Тобой был весел за пирушкой,
Тобой был честен, горд и смел!

В него глаза твои светили...
Так луч, в глубь церкви заронен,
Идет по длинной ленте пыли
Играть над ризами икон.

Погасла ты, и луч затмился,
Мрак человека обуял,
И не поверить: как светился
В той тьме кромешной — идеал?!.

* * *

Возьмите всё — не пожалею!
Но одного не дам я взять —
Того, как счастлив был я с нею,
Начав любить, начав страдать!

Любви роскошные страницы —
Их дважды в жизни не прочесть,
Как стае странствующей птицы
На то же взморье не присесть.

Другие волны, нарождаясь,
Дадут отлив других теней,
И будет солнце, опускаясь,
На целый длинный год старей.

А птицам в сроки перелетов
Придется убыль понести,
Убавить путников со счетов
И растерять их по пути...

В БУРЮ

Я приехал к тебе по Леману:
И сердит, и взволнован Леман!
И оделись Савойские Альпы
В темно-серый, свинцовый туман.

В небесах разыгралася буря,
Из ущелий гудят голоса;
Опалил мне лицо мое ветер,
Растрепал он мои волоса...

И гуляли могучие волны,
Я над ними веселый скользил,
И с вершин их по пенистым скатам
Глубоко, глубоко уходил.

Буря шла и в тревожном величьи
Раздавить собиралась меня;

Только смерть от меня сторонилась —
Был я весел и полон огня.

И я верил, что мне не погибнуть,
Что я кончу назначенный путь,
Что я должен предстать пред тобою,
И нельзя мне, нельзя утонуть!

ПРИДИ!

Дети спят. Замолкнул город шумный,
И лежит кругом по саду мгла!
О, теперь я счастлив, как безумный,
Тело бодро и душа светла.

Торопись, голубка! Ты теряешь
Час за часом! Звезд не сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В ночь такую думал добрым стать...

Спит залив, каким-то духом скован,
Ветра нет, в траве роса лежит;
Полный месяц, словно очарован,
Высоко и радостно дрожит.

В хрустале полуночного света
Сводом темным дремлет сад густой;
Мысль легка, и сердце ждет ответа!
Ты молчишь? Скажи мне, что с тобой?

Мы прочтем с тобой о Паризине,
Песней Гейне очаруем слух...
Верь, клянусь, я твой навек отныне;
Клятву дал я, и не дать мне двух.

Не бледией! Послушай, ты теряешь
Час за часом! Звезд ие сосчитать!
Демон сам с Тамарою, ты знаешь,
В иочь такую думал добрым стать...

* * *

В костюме светлом Коломбины
Лежала мертвая оиа,
Прикрыта вскользь, до половины,
Тяжелой завесью окна.
И маска иа староиу сбилась;
Полуоткрыт поблекший рот...
Чего тем ртом ие говорилось?
Теперь он в первый раз не лжет!

* * *

Во всей красе, на утре лет
Толпе ты кажешься виденьем!
Молчаиье первым впечатлеиьем
Всегда идет тебе вослед!

Тебе даио в молчаиьи этом
И в удивлеиии людей
Ходить, как блещущим кометам
В иедвижных сферах из лучей.

И, как и всякая комета,
Смущая блеском новизны,
Ты мчишься мертвым комом света
Путем, лишенным прямизиы!

* * *

В красоте своей долго старея,
Ты чаруешь людей до сих пор!
Хороши твои плечи и шея,
Увлекателен, быстр разговор.

Бездна вкуса в богатой одежде;
В обращеньи изящно-вольна!
Чем же быть ты должна была прежде,
Если ты и теперь так пышна?

В силу хроник, давно уж открытых,
Ты ходячий живой мавзолей
Ряда целого слух именитых,
Разорившихся в службе твоей!

И гляжу на тебя с уваженьем:
Ты финансовой силой была,
Капиталы снабдила движеньем
И, как воск, на огне извела!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

О, неужели он, он — этот скарб и хлам
Надежд, по счастью для людей, отживших,
Больных страстей, так страшно говоривших,
Сил, устремлявшихся к позорнейшим делам,—
Вот этот человек,— таким же был когда-то,
Как этот сын его, прелестное дитя,
В котором, грезами неведенья объято,
Сознанье теплится, играя и блестя!
В котором поступь, взгляд, малейшие движенья
Полны такой простой, изящной красоты!

В уме которого все мысли, все мечты —
Одни лишь светлые, счастливые виденья,
А чувства — отпрыски тепла и тишины
Какой-то внутренней, чудеснейшей весны! —
Дитя, что молится так искренно, так свято
И говорит с людьми от третьего лица...
О, чтоб отец таким же был когда-то!
Ищите вы ему не этого отца...



* * *

Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне надежд зоревые огни,
Дай моей юности светлого гения,
Дай мне былые мятежные дни.

Дай мне опять ошибаться дорогами,
Видеть их страхи вдали пред собой,
Дай мне надежд невозможных чертогами
Скрашивать жизни обыденный строй;

Дай мне восторгов любви с их обманами,
Дай мне безумья желаний живых,
Дай мне погаснувших снов с их туманами,
Дум животворных и грез золотых;

Дай — и возьми всю уверенность знания,
Всю эту ношу убитых страстей,
Эту обдуманность слов и деяния
В мерном теченьи и в знаньи людей.

Все ты возьми, в чем не знаю сомнения,
В правде моей — разуверь, обмани,—
Дай мне минувших годов увлечения,
Дай мне былые мятежные дни!..

* * *

О, не брани за то, что я бесцельно жил,
Ошибки юности не все за мною числи,
За то, что сердцем я мешать уму любил,
А сердцу жить мешал суровой правдой мысли.

За то, что сам я, сам нередко разрушал
Те очаги любви, что в холод согревали,
Что сфинксов правды я, безумец, вопрошал,
Считал ответами, когда они молчали.

За то, что я блуждал по храмам всех богов
И сам осмеивал былые поклоненья,
Что, думав облегчить тяжелый гнет оков,
Я часто новые приковывал к ним звенья.

О, не брани за то, что поздно сознаю
Всю правду лживости былых очарований
И что на склоне дней спокойный я стою
На тихом кладбище надежд и начинаний.

И все-таки я прав, тысячекратно прав!
Природа — за меня, она — мое прощенье;
Я лгал, как лжет она, и жизнь и смерть признав,
Бессильна примирить любовь и озлобленье.

Да, я глубоко прав,— так, как права волна,
И камень и себя о камень разрушая:
Все — подневольные, все — в грезах полусна,
Судеб неведомых веленья совершая.

БАНДУРИСТ

На Украйне жил когда-то,
Телом бодр и сердцем чист,
Жил старик, слепец маститый,
Седовласый бандурист.

В черной шапке, в серой свитке
И с бандурой на ремне,
Много лет ходил он в людях
По родимой стороне.

Жемчуг-слово, чудо-песни
Сыпал вещий с языка.
Ныли струны на бандуре
Под рукою старика.

Много он улыбок ясных,
Много вызвать слез умел,
И, что птица божья, песни,
Где приселось,— там и пел.

Он за песню душу отдал,
Песней тело прокормил;
Родился он безымянным,
Безымянным опочил...

Мертв казак! Но песни живы;
Все их знают, все поют!
Их знакомые созвучья
Сами так вот к сердцу льнут!

К темной ночке, засыпая,
Дети, будущий народ,
Слышат, как он издалека,
В песне матери поет...

* * *

Наш ум порой, что поле после боя,
Когда раздастся ясный звук отбоя:
Уходят сомкнутые убылью ряды,
Повсюду видятся кровавые следы,
В траве помятой лезвия мелькают,
Здесь груды мертвых, эти умирают,
Идет, прислушиваясь к звукам, санитар,
Дает священник людям отпущенья —
Слоится дым последнего кажденья...
А птичка божия, являя ценный дар,
Чудесный дар живого песнопенья,
Присев на острый штык, омоченный в крови,
Поет, счастливая, о мире и любви...

* * *

В немолчном говоре природы,
Среди лугов, полей, лесов
Есть звуки рабства и свободы
В великом хоре голосов...

Коронки всех иван-да-марий,
Веро́ник, кашек и гвоздик
Идут в стога, в большой гербарий,
Утратив каждая свой лик!

Нередко видны на покосах,
Вблизи усталых косарей —
Сидят на граблях и на косах
Певцы воздушные полей.

Поют о чудных грезах мая,
О счастье, о любви живой,
Поют, совсем не замечая
Орудий смерти под собой!

* * *

Вдоль бесконечного луга —
Два-три роскошных цветка;
Выросли выше всех братьев,
Смотрят на луг свысока.

Солнце палит их сильнее,
Ветер упорнее гнет,
Падать придется им глубже,
Если коса подсечет...

В сердце людском чувств немало...
Два или три между них
Издавна крепко внедрились,
Стали ветвистей других!

Легче всего их обидеть,
Их не задеть — мудрено!
Если их вздумаю вырвать —
Вырвут и жизнь заодно...

КАРИАТИДЫ

Между окон высокого дома,
С выраженьем тоски и обиды,
Стерегут парчевы́е хоромы
Ожерельем кругом карьятиды.

Напряглись их могучие ру́ки,
К ним на плечи оперлись колонны;
В лицах их — выражение муки,
В грудях их — поглощенные стоны.
Но не гнутся те крепкие груди,
Карьятиды позор свой выносят;
И — людьми сотворенные люди —
Никого ни о чем не попросят...
Идут годы — тяжелые годы,
Та же тяжесть им давит на плечи;
Но не шлют они дерзкие речи
И не вторят речам непогоды.
Пропечет ли жар солнца их кости,
Проберет ли их осень ветрами,
Иль мороз назовется к ним в гости
И посыплет их плечи снегами,—
Одинаково твердо и смело
Карьятиды позор свой выносят
И — вступиться за правое дело
Никого никогда не попросят...

20 октября 1856

НА МОТИВ МИКЕЛАНДЖЕЛО

О ночь! Закрой меня, когда — совсем усталый —
Кончаю я свой день. Кругом совсем темно;
И этой темнотой как будто сняты стены:
Тюрьма и мир сливаются в одно.

И я могу уйти! Но не хочу свободы:
Я знаю цену ей, я счастья не хочу!
Боюсь пугать себя знакомым звуком цепи,—
Припав к углу, я, как и цепь, молчу...

Возьми меня, о ночь! Чтоб ничего ни видеть,
Ни чувствовать, ни знать, ни слышать я не мог,
Чтоб зарожденья чувств и проблеска сознанья
Я как-нибудь в себе не подстерег...

МИФ

И летит, и клубится холодный туман,
Проскользая меж сосен и скал;
И встревоженный лес, как великий орган,
На скрипящих корнях заиграл...

Отвечает гора голосам облаков,
Каждый камень становится жив...
Неподвижен один только — старец веков —
В той горе схоронившийся Миф.

Он в кольчуге сидит, волосами оброс,
Он от солнца в ту гору бежал —
И желает, и ждет, чтобы прежний хаóс
На земле, как бывало, настал...

НА ПЛОТИНЕ

Как сочится вода сквозь прогнивший постав,
У плотины бока размывает,
Так из сердца людей, тишины не сыскав,
Убывает душа, убывает...

Надвигается вкруг от сырых берегов
Поросль вязкая моха и тины!
Не певать соловьям, где тут ждать соловьев
На туманах плавучей трясины!

Бор погнил... Он не будет себя отражать,
Жить вдвойне... А зима наступает!
И промерзнет вода, не успев убежать,
Вся, насквозь... и уже замерзает!..

* * *

Мне грезились сны золотые!
Проснулся — и жизнь увидал...
И мрачным мне мир показался,
Как будто он траурным стал.

Мне виделся сон нехороший!
Проснулся... на мир поглядел:
Задумчив и в траур окутан,
Мир больше, чем прежде, темнел.

И думалось мне: отчего бы —
В нас, в людях, рассудок силен —
На сны не взглянуть, как на правду,
На жизнь не взглянуть, как на сон!

* * *

В душе шел светлый пир. В одеждах золотых
Виднелись на пиру: желанья, грезы, ласки;
Струился разговор, слагался звучный стих,
И пенился бокал, и сочинялись сказки.

Когда спускалась ночь, на пир являлся он,
Туманились огни, виденья налетали,
И сладкий шепот шел, и несся тихий звон
Из очень светлых стран, и из далекой дали...

Теперь совсем не то. Под складками одежд,
Не двигая ничуть своих погасших ликов,
Виднеются в душе лишь остовы надежд!
Нет песен, смеха нет и нет заздравных кликов.

И дремлющий чертог по всем частям сквозит,
И только кое-где, под тяжким слоем пыли,
Светильник тлеющий дымится и коптит,
Прося, чтоб и его скорее погасили...

МОЛОДЕЖИ

И что ж?! Давно ль мы в жизнь вступали
И безупречны, и честны;
Трудились, ждали, создавали,
А повстречали — только сны.

Мы отошли,— и вслед за нами
Вы тоже рветесь в жизнь вступить,
Чтоб нами брошенными снами
Свой жар и чувства утолить.

И эти сны, в часы мечтанья,
Дадут, пока в вас кровь тепла,
На ваши ранние лобзанья
Свои покорные тела...

Обманут вас! Мы их простили
И верим повести волхвов:
Волхвы давно оповестили,
Что мир составился из снов!

* * *

Шли путем неведомым...
Шли тропинкой скрытою,
Бог весть кем проложенной
И почти забытою!..

В сердце человеческом
Есть обетованные
Тропочки закрытые,
Вовсе безымянные!

Под ветвями темными
Издавна проложены,
Без пути протоптаны,
Без толку размножены...

И по ним-то крадутся,
По глубокой темени,
Чувства непонятные
Без роду, без племени...

Чувства безымянные,
Сироты бездомные,
Робкие, пугливые,
Иногда нескромные...

* * *

По небу быстро поднимаясь,
Навстречу мчась одна к другой,
Две тучи, медленно свиваясь,
Готовы ринуться на бой!

Темны, как участь близкой брани,
Небесных ратников полки,
Подъяты по́ ветру их длани
И режут воздух шишаки!

Сквозят их мрачные забрала
От блеска пламенных очей...
Как будто в небе места мало
И разойтись в нем нет путей?

ПОДЛЕ СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

Свевая пыль с цветов раскрытых,
Семья полуночных ветро́в
Несет в пылинках, тьмой повитых,
Рассаду будущих цветов!

В работе робкой и безмолвной,
Людскому глазу не видна,
Жизнь сыплет всюду горстью полной
Свои живые семена!

Теряясь в каменных наростах
Гробниц, дряхлеющих в гербах,
Они плодятся на погостах
И у крестов, и на крестах.

Кругом цветы!.. Цветам нет счета!
И, мнится, сквозь движенья их
Стремятся к свету из-под гнета
Былые силы душ людских.

Они идут свои печали
На вешием солнце осветить,
Мечтать, о чем не домечтали,
Любить, как думали любить...

КАМАРИНСКАЯ

Из домов умалишеииых, из больниц
Выходили души опочивших лиц;
Были веселы, покончивши страдать,
Шли, как будто бы готовились плясать.

«Ручку в ручку дай, а плечико к плечу...
Не вериуться ли нам жить?» — «Ой, ие хочу!
Из покойиичков в живые иам не лезть,—
Знаем, видим — лучше смерть, как ии иа есть!»

Ах! Одио же сердце у людей, одио!
Истомилося, измаялось оио;
Столько гсря, иужды, столько лжи кругом,
Что гуляет зло по свету ходеием.

Дай копеечку, кто может, беднякам,
Дай копеечку и иищим духом иам!
Торопитесь! Будет поздно торопить.
Сами стаиете копеечки просить...

Из домов умалишенных, из больииц
Выходили души [illegible]чивших лиц;
Были веселы, по[illegible]чивши страдать,
Шли, как будто [illegible] готовились плясать...

СПЕТАЯ ПЕСНЯ

Пой о ней, голубушка певунья,
Пойте, струны, ей в ответ звеня!
Улетай, роднвшаяся песня,
Вслед за светом гаснущего дня!

Ты лети созданьем темной ночн,
В полутьме, предшествующей ей,
За последннм проблеском заката,
Впередн стремящихся теней...

Может быть, что между днем и ночью,
Не во сне, но у пределов сна,
По путям молитв, идущих к богу,
Скорбь землн за далью не слышна!

Может быть, что там, далеко, где-то,
В мнрный час, когда бессонный спнт,
Гаснет память, не влекут желанья,
Спит любовь и ненависть молчит,—

Ты найдешь покой нензъяснимый,
Жизни, смерти и себе чужда!..
И земля к своей поблекшей грудн
Не сманит беглянкн никогда!..

ПРО СТАРЫЕ ГОДЫ

Не смейся над песнею старой
С напевом ее немудреным,
Служившей заветною чарой
Отцам нашнм, нежно влюбленным!

Не смейся стихам мадригалов,
Топорщенью фижм и маижетов,
Вихрам боевых генералов,
Качавшимся в лад менуэтов!

Над смыслом альбомов старинных,
С пучками волос неизвестных,
С собранием шалостей чинных,
Забавных, но, в сущности, честных.

Не смейся! Те вещи служили,
Томили людей, подстрекали:
Отцы наши жили, любили,
И матери нас воспитали!

* * *

Где нам взять веселых звуков,
Как с веселой песней быть?
Грусти дедов с грустью внуков
Нам пока ие разобщить...

Не буди ж в груди желанья
И о счастье ие мечтай,—
В вечной повести страданья
Новой песни не рождай.

Тех спроси, а их ие мало,
Кто покоичил сам с собой,—
В жизни места иедостало,
Поискали под землей...

Будем верить: день тот глянет,
Ложь великая пройдет,
Горю в мире тесио стаиет,
И оно себя убьет!

* * *

Ох! Ответил бы на мечту твою,
Да не срок теперь, не пора!
Загубила жизнь добрых сил семью,
И измает ночь до утра.

Дай мне ту мечту, мысль счастливую,
Засветившую мне в пути,
В усыпальницу молчаливую
Сердца бедного отнести.

В нем под схимами, власяницами
Спят все лучшие прежних сил,
Те, что глянули в жизнь зарницами
И что мрак земли погасил...

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

1

Спокоен ум.... в груди волненье...
О, если б только не оно —
Нашла бы жизнь успокоенье,
Свершивши то, что быть должно...

Но нет! Строй духа безнадежный,
Еще храня остатки струн,
Дает на голос отклик нежный,
И дико мечется бурун

Живых надежд и ожиданий
В ущельях темных берегов,
Несовершившихся желаний
И неисполнившихся снов...

И мнится: кто-то призывает
Вернуться вновь в число живых,
Тревожит, греет, обещает...
Но голос тот зовет других!

Обманет их... Обнимет степью
И ночью, так же как меня,
Назло, в упрек великолепью
Едва замеченного дня!

2

И вернулся я к ним после долгих годов,
И они все так рады мне были!
И о чем уж, о чем за вечерним столом
Мы не вспомнили? Как не шутили?

Наши шумные споры о том и другом,
Что лет двадцать назад оборвались,
Зазвучали опять на былые лады,
Точно будто совсем не кончались.

И преемственность юных, счастливейших дней,
Та, что прежде влекла, вдохновляла,
Будто витязя труп под живою водой,
В той беседе для нас — оживала...

3

О, где то время, что, бывало,
В нас вдохновение играло
И воскурялся фимиам
Теперь поверженным богам?

Чертогов огненных палаты
Горели — ярки и богаты;
Был чист и светел кругозор!
Душа стремилась на простор,

Неслась могуществом порыва
Назло непрочному уму,
На звук какого-то призыва,
Бог весть зачем, бог весть к чему!

Теперь все мертвенно, все бледно...
То праздник жизни проходил,
Сиял торжественно, победно,
Сиял... и цвет свой обронил.

4

В глухом безвременье печали
И в одиночестве немом
Не мы одни свой век кончали,
Объяты странным полусном.

На сердце — желчь, в уме — забота,
Почти во всем вразумлены;
Холодной осени дремота
Сменила веянья весны.

Кто нас любил — ушли в забвенье,
А люди чуждые растут,
И два соседних поколенья
Одно другого не поймут.

Мы ждем, молчим, но не тоскуем,
Мы знаем: нет для нас мечты...

Мы у прошедшего воруем
Его завядшие цветы.

Сплетаем их в венцы, в короны,
Порой смеемся на пирах...
Совсем, совсем Анакреоны,
Но только не в живых цветах.

* * *

Когда обширная семья
Мужает и растет,
Как грустно мне, что знаю я
То, что их, бедных, ждет.
Соблазна много, путь далек!
И, если час придет,
Судьба их родственный кружок
Опять здесь соберет!
То будет ломаный народ
Борцов-полукалек,
Тех, что собой завалят вход
В двадцатый, в лучший век...
Сквозь гробы их из вечной тьмы
Потянутся на свет
Иные, лучшие, чем мы,
Борцы грядущих лет.
И первым добрым делом их,
Когда они придут,
То будет, что отцов своих
Они не проклянут.

* * *

Нет, жалко бросить мне на сцену
Творенья чувств и дум моих,
Чтобы заимствовать им цену
От сил случайных и чужих,
Чтобы умению актера
Их воплощенье поручать,
Чтоб в лжи кулис, в обмане взора
Им в маске правды проступать;
Чтоб, с завершеньем представленья,
Их трепет тайный, их стремленья —
Как только опустеет зал,
Мрак непроглядный обуял.

И не в столбцах повествованья
Больших романов, повестей
Желал бы я существованья
Птенцам фантазии моей;
Я не хочу, чтоб благосклонный
Читатель в длинном ряде строк
С трудом лишь насладиться мог,
И чтобы в веренице темной
Страниц бессчетных лишь порой
Ронял он с глаз слезу живую,
Нерукотворную, святую,
Над скрытой где-нибудь строкой,
И чтоб ему, при новом чтеньи,
Строки заветной не сыскать...
Нет обаянья в повтореньи,
И слез нельзя перечитать!
Но я желал бы всей душою
В стихе таинственно-живом
Жить заодно с моей страною
Сердечной песни бытием!

Песнь — ткань чудесная мгновенья —
Всегда ответит на призыв;
Она — сердечного движенья
Увековеченный порыв;
Она не лжет! Для милых песен
Великий божий мир не тесен;
Им книг не надо, чтобы жить;
Возникшей песни не убить;
Ей сроков нет, ей нет предела,
И если песнь прошла в народ
И песню молодость запела,—
Такая песня не умрет!



КУКЛА

Куклу бросил ребенок. Кукла быстро свалилась,
Стукнулась глухо о землю и навзничь упала...
Бедная кукла! Ты так неподвижно лежала
Скорбной фигуркой своей, так покорно
сломилась,
Руки раскинула, ясные очи закрыла...
На человека ты, кукла, вполне походила!

* * *

Где бы ни упало подле ручейка
Семя незабудки, синего цветка,—
Всюду, чуть с весною загудит гроза,
Взглянут незабудок синие глаза!

В каждом чувстве сердца, в помысле моем
Ты живешь незримым, тайным бытием...
И лежит повсюду на делах моих
Свет твоих советов, просьб и ласк твоих!

* * *

Каждою весною, в тот же самый час,
Солнце к нам в окошко смотрит в первый раз.

Будет, будет время: солнце вновь придет,—
Нас здесь не увидит, а других найдет...

И с терпеньем ровным будет им светить,
Помогая чахнуть и ничем не быть...

* * *

Последние из грез, и те теперь разбились!
Чему судьба, тому, конечно, быть...
Они так долго, бережно хранились,
И им, бедняжкам, так хотелось жить...
Но карточный игрок — когда его затравят,—
По воле собственной сжигая корабли,
Спокойней прежнего, почти веселый, ставит
Свои последние, заветные рубли!

* * *

Рано, рано! Глаза свои снова закрой
И вернись к неоконченным снам!
Ночь, пришлец-великан, разлеглась над землей;
В поле темень и мрак по лесам.

Но когда — ждать недолго — час утра придет,
Обозначит и холм, и межу,
Засверкают леса,— великан пропадет,—
Я тебя разбужу, разбужу...

* * *

Отдохните, глаза, закрываясь в ночи́,
Вслед за тем, что вы днем увидали!
Отчего-то вы, бедные, так горячи,
Отчего так глубоко устали?

Иль нельзя успокоить вас, очи, ничем,
Охладить даже полночи тьмою! —
Спишь глубоко, а видишь во сне между тем:
Те же люди идут пред тобою...

* * *

Градины выпали! Счета им нет...
Подле них вишен обившийся цвет...
В царственном шествии ранней весны,
В чаяньи смерти смертельно бледны,
Бедные жертвы и их палачи
Гибнут, белея, в безлунной ночи́...

* * *

Он охранял твой сон, когда ребенком малым,
Бывало, перед ним ты сладко засыпал,
И солнца теплый луч своим сияньем алым
На щечках бархатных заманчиво играл.

Он сторожит твой сон теперь, когда, разбитый,
Больной, уставший жить, тревожно дремлешь ты,
И тот же луч зари на впалые ланиты
Бросает, как тогда, роскошные цветы...

* * *

Из твоего глубокого паденья
Порой, живым могуществом мечты,
Ты вдруг уносишься в то царство вдохновенья,
Где дома был в былые дни и ты!

Горит тогда, горит неопалимо
Твоя мечта — как в полночи звезда!..
Как ты красив под краскою стыда!
Но светлый миг проходит, мимо, мимо...



Посвящается
А. А. Коринфскому

* * *

Полдневный час. Жара гнетет дыханье;
Глядишь прищурясь,— блеск глаза слезит.
И над землею воздух в колебанье,
Мигает быстро, будто бы кипит.

И тени нет. Повсюду искры, блестки;
Трава слегла, до корня прожжена.
В ушах шумит, как будто слышны всплески,
Как будто где-то подле бьет волна...

Ужасный час! Везде оцепененье:
Жмет лист к ветвям нагретая вербá,
Укрылся зверь, затем, что жжет движенье,
По щелям спят, приткнувшись, ястреба.

А в поле труд... Обычной чередою
Идет косьба: хлебá не будут ждать!
Но это время названо страдою,—
Другого слова нет его назвать...

Кто испытал огонь такого неба,
Тот без труда раз навсегда поймет,
Зачем игру и шутку с крошкой хлеба
За тяжкий грех считает наш народ!

* * *

Горячий день. Мой конь проворно
Идет над мягкой пахотой;
Белеют брошенные зерна,
Еще не скрытые землей.

Прилежной кинуты рукою,
Как блестки в пахотной пыли,
Где в одиночку, где семьею,
Они узором полегли...

Я возвращаюсь ночью бором;
Вверху знакомый взору вид:
Что зерна звезды! Их узором
Вся глубь небесная горит...

* * *

Как красных маков, раскидало
По золотому полю жниц;
Небес лазурных покрывало
Пестрит роями черных птиц;

Стада овец ползут на скаты
Вдоль зеленеющей бакчи,—
Как бы подвижные заплаты
На ярком золоте парчи...

* * *

В отливах нежно-бирюзовых,
Всем краскам неба дав приют,
В дуплистой раме кущ вербовых
Лежит наш тихий, тихий пруд.

Заря дымится, пламенея.
Вон, обронен вчерашним днем,
Плывет гусиный пух, алея,
Семьей корабликов по нем.

Уж не русалок ли бедовых
Народ, как месяц, тут блистал,
Себе из перышек пуховых
Наткать задумал покрывал?

Но петухи в свой срок пропели,
Проворно спряталась луна,
Пропали те, что ткать хотели,
Осталась плавать ткань одна!

И, эту правду подтверждая,
В огнях зари летит с полей
Гусей гогочущая стая,
Блистая рядом длинных шей.

* * *

Стоит народ за молотьбою;
Гудит высокое гумно;
Как бы молочною струею
Из молотилки бьет зерно.

Как ярок день, как солнце жгуче!
А пыль работы так грузна,
Что люди ходят, будто в туче,
Среди дрожащего гумна.

* * *

Чернеет полночь. Пять пожаров!
Столбами зарева стоят!
Кругом зажиточные села
Со всеми скирдами горят!

Иль это дьявол сам пролетом
Земли коснулся пятерней,
И жгучий след прикосновенья
Пылает в темени ночной!

И далеко пойдут по краю,
И будут в свете дня видны
В печальных лицах погорельцев
Благословенья сатаны...

* * *

Есть, есть гармония живая
В нытье полуночного лая
Сторожевых в селе собак;
Никем не хо́лены, не мыты,
Избиты, изредка лишь сыты,
Все в клочьях от обычных драк,
Они за что-то, кто их знает,
Наш сон усердно сторожат:
Пес хочет есть, избит, измят,
А всё не спит и громко лает!

* * *

По крутым по бокам вороного
Месяц блещет, вовсю озарил!
Конь! Поведай мне доброе слово!
В сказках конь с седоком говорил!

Ох, и лес-то велик и спокоен!
Ох, и ночь-то глубоко синя́!
Да и я безмятежно настроен...
Конь, голубчик! Поба́луй меня!

Ты скажи, что за де́вицей едем;
Что она, прикрываясь фатой,
Ждет... глаза проглядит... Нет! Мы бредим,
И никто-то не ждет нас с тобой!

Конь не молвит мне доброго слова!
Это сказка, чтоб конь говорил!
Но зачем же бока вороного
Месяц блеском таким озарил?

* * *

Устал в полях, засну солидно,
Попав в деревню на харчи.
В окно открытое мне видно
И сад наш, и кусок парчи
Чудесной ночи... Воздух светел...
Как тишь тиха! Засну, любя
Весь божий мир... Но крикнул петел!
Иль я отрекся от себя?

* * *

Прекрасен вид бакчи нагорной!
Плетень, сторожка из ветвей;
Арбуз, пустивший лист узорный,
Окутал землю сетью змей.

Ползут, сплелись! Назад с неделю,
Я помню, вечер наступал,—
По склону, вторя коростелю,
Местами перепел стучал.

Бакча сквозь сумрак зеленела,
Сквозили за́вязи цветов;
Теперь откуда что приспело?
Повсюду в кружевах листов

Глядят плоды... Еще так малы,
Но всюду, всюду залегли,
Как бледно-желтые опалы,
На мягких сумерках земли!

* * *

Так вот оно где наводненье было!
Избу разрушило, плотину разнесло,
Большие льдины всюду разложило —
И успокоилось, и тихо отошло...

В одежде искр и красок бесподобных
Идет весна, вся в почках и цветах;
В соседстве льдин, как подле плит надгробных,
Играют дети в солнечных лучах.

4

Улыбка есть на всех следах погрома!
Загладить прошлое весна взяла почин,
И ластится она, вся нега, вся истома,
И жмется зеленью к лазурным стенкам льдин.

* * *

Как будто снегом опушила
Весна цветами ветви слив;
Заря, полнеба охватив,
В цветах румянец пробудила.

Придет пора, нальется плод,
А тяжесть ветви к долу клонит,
Сломает... Цветень смерть несет,
Пора любви страданья гонит.

Но жизнь щадит: закон таков,
Что умеряется излишек
Обжорством галок и скворцов
И смелой жадностью мальчишек.

* * *

В одежде выцветшей и бурой,
В каемках яркой желтизны,
Объят ты, лес, погодой хмурой,
И блекнут все твои сыны.

На их печальные обличья,
Пятном блестящим с высоты,

Льет солнце острый блеск величья
И греет мертвые листы.

Но в безнадежности природы,
Как изумруды зелены́,
Заметны озимые всходы
И зелень ели и сосны.

Мурманские отголоски

С. С. Трубачеву

* * *

Будто в люльке нас качает.
Ветер свеж. Ни дать ни взять
Море песню сочиняет —
Слов не может подобрать.

Не помочь ли? Жалко стало!
Сколько чудных голосов!
Дискантóв немножко мало,
Но зато не счесть басов.

Но какое содержанье,
Смысл какой словам придать?
Море — странное созданье,
Может слов и не признать.

Диких волн седые орды
Тонкой мысли не поймут,
Хватят вдруг во все аккорды
И над смыслом верх возьмут.

* * *

Здесь, в заливе, будто в сказке!
Вид закрыт во все концы;
По дуге сложились скалы
В чудодейные дворцы;

В острых очерках утесов,
Где так густ и влажен мох,
Выраженья лиц каких-то,
Вдруг застывшие врасплох.

У воды торчат, белея,
Как и скалы велики,
Груды ребр китов погибших,
Черепа и позвонки.

К ним подплывшая акула
От светящегося дна
Смотрит круглыми глазами,
Неподвижна и темна,

Вся в летучих отраженьях
Высоко снующих птиц —
Как живое привиденье
В этой сказке, полной лиц!

* * *

Снега заносы по скалам
Всюду висят бахромой:
Солнце июльское блещет,—
Встретились лето с зимой.

Ветер от запада. Талый
Снег под ногами хрустит;
Рядом со снегом, что пурпур,
Кустик гвоздики горит.

Тою же яркостью красок
В Альпах, на крайних высях,
Кучки гвоздики алеют
В вечных, великих снегах.

В Альпах, чем ближе к долинам,
Краски цветов все бледней,
Словно тускнеют, почуяв
Скучную близость людей.

Здесь — до болот ниспадает
Грань вековечных снегов;
Тихая жизнь не свевает
Яркости божьих цветов;

Дружно пылают гвоздики,
Рдеют с бессчетных вершин
Мохом окутанных кочек,
Вспоенных влагой трясин.

* * *

Какие здесь всему великие размеры!
Вот хоть бы лов классической трески!
На крепкой бечеве, верст в пять иль
больше меры,
Что ни аршин, навешаны крючки;

Насквозь проколота, на каждом рыбка бьется...
Пять верст страданий! Это ль не длина?

Порою бечева китом, белугой рвется —
Тогда страдать артель ловцов должна.

В морозный вихрь и снег — а это ль не напасти?—
Не день, не два, с терпеньем без границ
Артель в морской волне распутывает снасти,
Сбивая лед с промерзлых рукавиц.

И завтра то же, вновь... В дому помору хуже:
Тут, как и в море, вечно сир и нищ,
Живет он впроголодь, а спит во тьме и стуже
На гнойных нарах мрачных становищ.

* * *

Здесь, говорят, у них порой
Смерть человеку облик свой
В особом виде проявляет.
Когда, в отлив, вода сбегает
И, между камнями, помор
Идет открытыми песками,
Путь сокращая,— кругозор
Его обманчив; под ногами
Песок не тверд; помор спешит,—
Прилив не ждет! Вдруг набежит
Отвсюду! Вот уже мелькают
Струи, бегущие назад;
То здесь, то там опережают,
Под камни льются, шелестят!
А вон, вдали, седая грива
Ползущего в песках прилива
Гудит, неистово ревет
И водометами встает...
Скорей, скорей! Но нет дороги!

Пески сдаются, вязнут ноги,
Пески уходят под ногой...
Всё выше волн гудящих строй!
Их гряды мечутся высоко,
Чтоб опрокинуться потом...
Всё море лезет на подъем!
Спасенья нет... Блуждает око...
Всё глубже хлябь, растет прилив!
Одолеваемый песками,
Помор цепляется руками,
И он не мертв еще, он жив —
А тяжкий гул морского хора,
Чтоб крик его покрыть полней,
В великой мощности напора
Стучит мильонами камней...

* * *

Взобрался я сюда по скалам;
С каким трудом на кручу взлез!
Внизу бурун терзает море,
Кругом, по кочкам, мелкий лес...

Пигмеи-сосенки! Лет двести
Любой из них, а вышиной
Едва-едва кустов повыше;
Что ни сучок — больной, кривой.

Лет двести жизни трудной, скучной,
И рост такой... Везде вокруг
Не шум от ветра — трепетанье,
Как будто робкий плач, испуг...

Но счастье есть и в них: не знают,
Не ведают, что поюжней
Взрастают сосны в три обхвата
И с пышной хвоею ветвей.

И что вдали, под солнцем юга,
В морскую синь с вершин Яйлы́
Сквозь сетки роз и винограда
Глядят других сестер стволы...

* * *

Хоть бы молниям светиться!
Тьма над морем, тьма!
Вихорь, будто зрячий, мчится —
Он сошел с ума...

Он выводит над волнами,
Из бессчетных струн,
Гаммы с резкими скачками...
А поет бурун.

Что за свадьба? Что за пляска?
Если б увидать!
Тьма, как плотная повязка,—
Где ее сорвать...

Сердцем чуются движенья
Темных сил ночных,
Изможденные виденья,
Плач и хохот их...

* * *

Когда на краткий срок здесь ясен горизонт
И солнце сыплет блеск по отмелям и лу́дам,
Ни Адриатики волна, ни Геллеспонт
Таким темнеющим не блещут изумрудом;

У них не так густа бывает синь черты,
Делящей горизонт на небо и на море...
Здесь вечность, в веяньи суровой красоты,
Легла для отдыха и дышит на просторе!

Из природы

НА РЕКЕ ВЕСНОЙ

Последним льдом своим спирая
Судов высокие бока,
В тепле весны шипя и тая,
Готова тронуться река.

На юг сияющий и знойный,
К стране счастливой, но чужой
Ты добежишь, поток спокойный,
Своей работницей-волной.

С журчаньем нежным и печальным
Другим звездам, в вечерний час,
Иным землям и людям дальним,
Река, поведай и о нас!

Скажи, как к нам весна приходит,
Что долго ждем, что скучны дни.
Что смерть с весной здесь дружбу водит
И люди гаснут, как огни...

РАССВЕТ В ДЕРЕВНЕ

Огонь, огонь! На небесах огонь!
Роса дымится, в воздух отлетая;
По грудь в реке стоит косматый конь,
На ранний ветер уши навостряя.
По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Идет обоз с богатой кладью жита;
А за селом погост и низкие кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вот ставней хлопнули: в окне старик седой
Глядит и крестится на первый луч рассвета;
А вот и девушка извилистой тропой
Идет к реке, огнем зари пригрета.
Готово солнце встать в мерцающей пыли,
Крепчает пенье птиц под бесконечным сводом,
И тянет от полей гвоздикою и медом
И теплой свежестью распаханной земли...

* * *

Старый плющ здесь ползет
Вдоль мохнатых корней;
Ель, замшившись, растет —
Вся в дремоте ветвей...
Опуститься б в тени,
Поглядеть на закат,
Как ночные огни
В небесах заблестят,
И, с темнеющим днем,
Всем своим бытием,
Как и день, отойти
На иные пути...

МАЛО СВЕТУ

Мало свету в нашу зиму!
Воздух темен и не чист;
Не подняться даже дыму —
Так он грузен и слоист.

Он мешается с туманом;
В нем снуют со всех сторон,
Караван за караваном,
Стаи галок и ворон...

Мгла по лесу, по болоту...
Да, задача не легка —
Пересиливать дремоту
Чуть заметного денька!

СНЕГА

Месяц в небе высоком стоит,
Степь, покрытая снегом, блестит,
И уж сколько сияет по ней
Голубых и зеленых огней!..

Неподвижная ночь холодна,
И глубоко нема тишина,
И ломается в воздухе свет
Проплывающих звезд и планет...

Вот из белых, глубоких снегов,
На какой-то таинственный зов,
Словно белые люди встают,
И встают, и идут, и растут!

Светят лики неясные их
И проходят одни сквозь других,
И по степи мерцает вокруг
Много, много светящихся рук...

ТУЧИ И ТЕНИ

Тучки набежали, тени раскидали,
Смотрят с неба синего, смотрят свысока,
Как легли их тени и куда упали:
На холмы, на пажити, в волны озерка.

Молвят тучам тени: «Золотые гряды,
Вам ли счастье, радости, краски не даны,
Вам ли нет раздолья, вам ли нет отрады
В переливах радужных светлой вышины?»

Отвечают тучи: «Темные созданья,
Бедные завистницы долей вам чужих!
Ближе вы к юдоли плача и страданья,
Но зато вы в близости радостей людских...»

ОСЕННИЙ МОТИВ

Мой старый клен с могучею листвою,
Еще ты густ, и зелен, и тенист.
А между тем чуть видной желтизною
Уже слегка озолочен твой лист.

Еще и птиц напевы голосисты,
Ты ими полн, как плеском бег реки;
Еще висят вдоль плеч твоих монисты —
Твоих семян созревших мотыльки.

В них бывший цвет — твои воспоминанья,
Остатки чувств, испытанных тобой;
Но ты сказал им только: «До свиданья!»
Ты будешь жить и будущей весной.

Глубокий сон зимы обледенелой
Додремлешь ты и, покидая сны,
Весь обновлен, листвой своей всецело
Отдашься ласкам будущей весны.

Для нас — не то. Хотя живут стремленья,
И в сердце песнь, и грез душа полна,
Но, старый друг, нет людям обновленья,
И жизнь идет, как нить с веретена.

НАШИ ПТИЦЫ

Наши обычные птицы прелестные,
Галка, ворона и вор-воробей!
Сча́стливым странам не столько известные,
Сколько известны отчизне моей...

Ваши окраски все серые, черные,
Да и обличьем вы очень просты:
Клювы как клювы, прямые, проворные,
И без фигурчатых перьев хвосты.

В непогодь, вьюги, буруны, метелицы
Все вы, голубчики, тут, подле нас,
Жизни пернатой невесть что — безделицы,
Вы утешаете сердце подчас.

И для картины вы очень существенны
В долгую зиму в полях и лесах!

Все ваши сборища шумны, торжественны
И происходят у всех на глазах.

Это не то, что сова пучеокая
Или отшельница-птица челнá —
Только где темень, где чаща глубокая,
Там ей приятно, там дома она!

С вами иначе. То вдруг вы слетаетесь
Стаей большой на дорогу; по ней
Ходите, клю́ете и не пугаетесь
Даже нисколько людей и коней.

То вы весь вид на картину меняете,
В лес на опушку с дороги слетев,
Белую в черную вдруг обращаете,
Сотнями в снежные ветви насев.

То, как лоскутина флера, таскаетесь
Стаей крикливою вдоль по полям,
Тут подбираетесь, там раздвигаетесь
Черным пятном по бесцветным снегам.

Жизнь хоть и скромная, жизнь хоть и малая,
Хоть не большая, а все благодать,
Жизнь в испытаньях великих бывалая,
Годная многое вновь испытать...



1. МЕФИСТОФЕЛЬ В ПРОСТРАНСТВАХ

Я кометой горю, я звездою лечу
И куда посмотрю, и куда захочу,
   Я мгновенно везде проступаю!
Означаюсь струей в планетарных пара́х,
Содроганием звезд на старинных осях —
   И внушаемый страх — замечаю!..

Я упасть — не могу, умереть — не могу!
Я не лгу лишь тогда, когда истинно лгу, —
   И я мир возлюбил той любовью,
Что купила его всем своим существом,
Чувством, мыслью, мечтой, всею явью и сном,
   А не только распятьем и кровью.

Надо мной ли венец не по праву горит?
У меня ль на устах не по праву царит
   Беспощадная, злая улыбка?!.
Да, в концерте творенья, что уши дерет,
И тогда только верно поет, когда врет,—
   Я, конечно, первейшая скрипка...

Я велик и силен, и бесстрашен и зол;
Мне печали веков разожгли ореол,
   И он выше, все выше пылает!

Он так ярко горит, что и солнечный свет,
И сиянье блуждающих звезд и комет
Будто пятна в огне освещает!

Будет день, я своею улыбкой сожгу
Всех систем пузыри, всех миров пустельгу,
Все, чему так приятно живется...
Да скажите же: разве не видите вы,
Как у всех на глазах, из своей головы,
Мефистофелем мир создается?!

Не с бородкой козла, не на тощих ногах,
В епанче и с пером при чуть видных рогах
Я брожу и себя проявляю:
В мелочь, в звук, в ощущенье, в вопрос и в ответ,
И во всякое «да», и во всякое «нет»,
Невесóм, я себя воплощаю!

Добродетелью лгу, преступленьем молюсь!
По фигурам мазурки политикой вьюсь,
Убиваю, когда поцелую!
Хороню, сторожу, отнимаю, даю —
Раздробляю великую душу мою
И, могу утверждать, торжествую!..

2. НА ПРОГУЛКЕ

Мефистофель шел, гуляя,
По кладбúщу, вдоль могил...
Теплый, яркий полдень мая
Лик усталый золотил.

Мусор, хворост, тьма опенок,
Гниль какого-то ручья...

Видит: брошенный ребенок
В свертке грязного тряпья.

Жив! Он взял ребенка в руки,
Под терновником присел
И, подделавшись под звуки
Детской песенки, запел:

«Ты расти и добр, и честен:
Мать отыщешь — уважай;
Будь терпением известен,
Не воруй, не убивай!

Бога, самого большого,
Одного в душе имей;
Не желай жены другого;
День субботний чти, говей...

Ты евангельское слово
Так, как должно, исполняй,
Как себя люби другого;
Бьют — так щеку подставляй!

Пусть блистает добродетель
Несгорающим огнем...
Amen! Amen![1] Бог свидетель,
Люб ты будешь мне по нем!

Нынче время наступило,
Новой мудрости пора...
Что ж бы впрямь со мною было,
Если б не было добра?!

---

[1] Аминь! Аминь! *(лат.)* — *Ред.*

Для меня добро бесценно!
Нет добра, так нет борьбы!
Нужны мне, и несомненно,
Добродетелей горбы...

Будь же добр!» Покончив с пеньем,
Он ребенка положил
И своим благословеньем
В свертке тряпок осенил!

3. ПРЕСТУПНИК

Вешают убийцу в городе на площади,
И толпа отвсюду смотрит необъятная!
Мефистофель тут же; он в толпе шатается;
Вдруг в него запала мысль совсем приятная.

Обернулся мигом. Стал самим преступником;
На себя веревку помогал набрасывать;
Вздернули, повесили! Мефистофель тешится,
Начал выкрутасы в воздухе выплясывать.

А преступник скрытно в людях пробирается,
Злодеянье новое в нем тихонько зреет,
Как бы это чище, лучше сделать, думает,
Как удрать непойманным,— это он сумеет.

Мефистофель радостно, истинно доволен,
Что два дела сделал он людям из приязни:
Человека скверного отпустил на волю,
А толпе дал зрелище всенародной казни.

4. ШАРМАНЩИК

Воздуху, воздуху! Я задыхаюсь...
Эта шарманка, что уши пилит,
Мучает, душит... я мыслью сбиваюсь...
Глупый шарманщик в окошко глядит!

Эту забытую песню когда-то
Слушал я иначе, слушал душой,
Слушал тайком... скрыл от друга, от брата!
Думал: не знает никто под луной...

Вдруг ты воспрянула, заговорила!
Полная неги, мечте говоришь.
Время ли, что ли, тебя изменило?
Нот не хватает — а все ты звучишь!

Значит, подслушали нас! Ударенья
Ясны и четки на тех же словах,
Что и тогда, в эту ночь увлеченья...
Память сбивается, на сердце страх!

Злая шарманка пилит и хохочет,
Песня безумною стала сама.
Мысль, погасая, проклятья бормочет...
Не замолчишь ты — сойду я с ума!

Слышу, что тянет меня на отмщенье...
Но ведь то время погасло давно,
Нет тех людей... нет ее!.. Наважденье!..
Глупый шарманщик все смотрит в окно!

5. МЕФИСТОФЕЛЬ, НЕЗРИМЫЙ НА РАУТЕ

В запахе изысканном,
С свойствами дурмана,
В волнах Jockey Club'a
И Glang Glang'a[1],
На блестящем рауте
Знати светлолобой
Мефистофель движется
Сам своей особой!
И глядит с любовию
На одежды разные,
Как блестят на женщинах
Крестики алмазные!

Общество сидело,
Тараторило,
Издевалось, лгало,
Пустословило!..
Чудилось: то были
Змеи пестрые!
В каждом рту чернели
Жала острые!
И в роскошной зале
Угощаючись,
В креслах, по диванам
Извиваючись,
Из глубоких щелей,
Из земли сырой
С сладостным шипеньем
Собрался их рой...

---

[1] Названия духов. — *Ред.*

Чуть кто выйдет в двери —
Как кинжалами,
Вслед за ним стремятся,
Блещут жалами!
Запимались долго
С умилением,
Часто чуть не плача,
Поношением...
А когда донельзя
Иззлословились
Задушить друг дружку
Приготовились!
А когда хозяйка —
Очень крупный змей —
Позвала на ужин
Дорогих гостей, —
Веселы все были,
Будто собрались
Вешать человека
Головою вниз!..
В запахе изысканном,
С свойствами дурмана,
В волнах Jockey Club'a
И Glang Glang'a
Мефистофель движется,
Упиваясь фразами,
И не меркнут крестики —
Все блестят алмазами!!

6. ЦВЕТОК, СОТВОРЕННЫЙ МЕФИСТОФЕЛЕМ

Когда мороз зимы наляжет
Холодной тяжестью своей
И все, что двигается, свяжет
Цепями тысячи смертей;

Когда над замершею степью
Сиянье полночи горит
И, поклоняясь благолепью
Небес, земля на них глядит,—

В юдоли смерти и молчанья,
В холодных, блещущих лучах
С чуть слышным трепетом дрожанья
Цветок является в снегах!..

Нежнейших игл живые ткани,
Его хрустальные листы
Огнями северных сияний,
Как соком красок, налиты!

Чудна блестящая порфира,
В ней чары смерти, прелесть зла!
Он — отрицанье жизни мира,
Он — отрицание тепла!

Его, рожденного зимою,
Никто не видит и не рвет,
Лишь замерзающий порою
Сквозь сон едва распознает!

Слезами смерти он опрыскан,
В нем звуки есть, в нем есть напев!
И только тот цветком тем взыскан,
Кто отошел, окоченев...

7. МЕФИСТОФЕЛЬ В СВОЕМ МУЗЕЕ

Есть за гранью мирозданья
Заколоченные зданья,
Неизведанные склады,
Где положены громады
Всяких планов и моделей,
Неисполненных проектов,
Смет, балансов и проспектов,
Не добравшихся до целей!

Там же тлеют ворохами
С перебитыми венцами
Закатившиеся звезды...
Там, в потемках свивши гнезды,
Силы темные роятся,
Свадьбы празднуют, плодятся...

В том хаосе галерея
Вьется, как в утробе змея,
Между гнили и развалин!
Щель большая! Из прогалин
Боковых, бессчетных щелей,—
От проектов и моделей
Веет сырость разложенья
В этот выкидыш творенья!

Там, друзьям своим в потеху,
Ради шутки, ради смеху,
Мефистофель склад устроил:
Сòбрал все свои костюмы,
Порожденья темной думы,
Сòбрал их и успокоил!

Под своими нумерами,
Все они висят рядами,

Будто содранные шкуры
С демонической натуры!
Видны тут скелеты смерти
Астароты и вампиры,
Самотракские кабиры,
Сатана и просто черти,
Дьявол в сотнях экземпляров,
Духи мора и пожаров,
Облик кардинала Реца
И Елена — la Belezza![1]

И в часы отдохновенья
Мефистофель залетает
В свой музей и вдохновенья
От костюмов ожидает.
Курит он свою сигару,
Ногти чистит и шлифует!
Носит фрачную он пару
И с мундиром чередует;
Сшиты каждый по идее,
Очень ловки при движеньи...
Находясь в употребленьи,
Не имеются в музее!

8. СОБОРНЫЙ СТОРОЖ

Спят они в храме под плитами,
Эти безмолвные грешники!
Грóбы их прочно поделаны:
Все то дубы да орешники...

Сам Мефистофель там сторожем
Ходит под древними стягами...

[1] Красота *(ит.)*. — *Ред.*

Чистит он, день-деньской возится
С урнами и саркофагами.

Ночью, как храм обезлюдеет,
С тряпкой и щеткой обходит!..
Пламя змеится и брызжет
Там, где рукой он проводит!

Жжет это пламя покойников..,
Но есть такие могилы,
Где Мефистофелю-сторожу
Вызвать огонь не под силу!

В них идиоты опущены,
Нищие духом отчитаны:
Точно водой, глупой кротостью
Эти могилы пропитаны.

Гаснет в воде этой пламя!
Не откачать и не вылить...
И Мефистофель не может
Нищенства духом осилить!

9. В ВЕРТЕПЕ

«Милости просим,— гнусит Мефистофель,— войдем!
Дым, пар и копоть; любуйся, какое движенье!
Пятнами света сияют где локоть, где грудь,
Кто-то акафист поет! Да и мне слышно пенье...

Тут проявляется, в темных фигурках своих,
Крайнее слово всей вашей крещеной культуры!
Стòит, мошной побренчав, к преступленью позвать:
Всё, всё исполнят милейшие эти фигуры...

Слушай, мой друг, но прошу — не серчай, сделай
милость!
За двадцать три с лишком века до этих людей,
Вслед за Платоном, отличио писал Аристотель;
За девятиадцать — погиб Иисус-Назарей...

Ну, и скажи мие, кто лучше: вот эти иль те,
Что, безымянные, даже и бога не знают,
В дебрях, в степях иеизведаииых стран народясь,
Знать о себе не дают и тайком умирают.

Ну, да и я, — заключил Мефистофель,— живу
Только лишь тем, что злой сон видит мир иаяву,
Вашей культуре спасибо!..» Он руку мне сжал
И доброй иочи преискреиио мие пожелал.

10. ПОЛИШИНЕЛИ

Есть в продаже на рыиках, на тесьмах,
на пружинках
Картоиажиые полишииели.
Чуть за иитку потяиут — вдруг огромными стаиут!
Уменьшились, опять подлиннели...

Вот берет Мефистофель человеческий профиль,
Относимый к хорошим, к почтеииым,
И в обществеииом мненьи создает измеиеиье
По причииам, совсем сокровеииым.

Так, вот этот! Считают, что другого ие зиают,
Кто бы так был умеи и так честеи,
Все в ием складно — не худо, одним словом, что чудо!
Добр и кроток, красив и прелестен!

А сегодня открыли, всех и вся убедили,
 Что во всем он и всюду ничтожен!
Что живет слишком робко, да и глуп он как пробка,
 Злом и завистью весь растревожен!

А вот этот? Сегодня, как у гроба господня
 Бесноватый, сухой, прокаженный,
И поруган, и болен, и терпеть приневолен,
 Весь ужасной болезнью прожженный!

Завтра — детище света! Муж большого совета,
 Где и равный ему не найдется...
Возвеличился профиль! Дернул нить Мефистофель
 И кривлянью фигурки смеется...

Из дневника одностороннего человека

* * *

Из Каира и Ментоны,
Исполняя церкви чин,
К нам везут мужья и жены
Прах любимых половин...

В деревнях и под столицей
Их хоронят на Руси:
На, мол, жил ты за границей —
Так земли родной вкуси!

Бренным телом на подушке
Все отдай, что взял, назад...
За рубли вернув полушки,
Русский край, ты будешь рад!

* * *

Да, нынче нравятся «Записки», «Дневники»!
Жизнишки глупые, их мелкие грешки
Ползут на свет и требуют признанья!
Из худосочия и умственных расстройств,
Из лени, зависти и прочих милых свойств
Слагаются у нас бытописанья —
И эта пища по зубам
Беззубым нам!

* * *

Что, камни не живут? Не может быть! Смотри
Как дружно все они краснеют в час зари,
Как сохраняют в ночь то мягкое тепло,
Которое с утра от солнца в них сошло!
Какой ужасный гул идет от мостовых!
Как крепки камни все в призваниях своих,—
Когда они реку вдоль берега ведут,
Когда покойников, накрывши, стерегут,
И как гримасничают долгие века,
Когда ваятеля искусная рука
Увековечит нам под лоском красоты
Чьи-либо гнусные, проклятые черты!

* * *

Не стонет справа от меня больной,
Хозяйка слева спорить перестала,
И дети улеглись в квартире надо мной,
И вот вокруг меня так тихо, тихо стало!

Газета дня передо мной раскрыта...
Она мне не нужна, я всю ее прочел:
По-прежнему в ходу ослиные копыта,
И за клочок сенца идет на пытку вол!

И так я утомлен отсутствием свободы,
Так отупел от доблестей людей,
Что крики кошек и возню мышей
Готов приветствовать, как голоса природы.

* * *

Вся земля — одно лицо! От века
По лицу тому с злорадством разлита,
Чтоб травить по воле человека,
Лживых мыслей злая кислота...
Арабески!.. Каждый день обновки!
Что-то будет? Хуже ли, чем встарь?
Нет, клянусь, такой татуировки
Ни один не сочинял дикарь...

* * *

Всё юбилеи, юбилеи...
Жизнь наша кухнею разит!
Судя по ним, людьми большими
Россия вся кишмя кишит;
По смерти их, и это ясно,
Вослед великих пустосвятств,
Не хватит нам ста Пантеонов
И ста Вестминстерских аббатств...

* * *

В его поместьях темные леса
Обильны дичью вкусной и пушистой,
И путается острая коса
В траве лугов, высокой и душистой...
В его дому уменье, роскошь, вкус —
Одни другим служили образцами...
Зачем же он так грустен между нами
И нá сердце его лежит тяжелый груз!
Чем он страдает? Чем он удручен
И что мешает счастью?.. — Он умен!

* * *

Мой друг! Твоих зубов остатки
Темны́, как и твои перчатки;
И сласть, и смрад речей твоих
Насели ржавчиной на них.
Ты весь в морщинах, весь из пятен,
Твой голос глух, язык невнятен;
В дрожаньи рук, в морганьи век
Видать, что ты за человек!
Но вот четыре длинных года,
Как ты, мой набожный урод,
Руководишь казной прихода
По отделению сирот!

* * *

Вот Новый год нам святцы принесли.
Повсюду празднуют минуту наступленья,
Молебны служат, будто бы ушли
От зла, печали, мора, потопленья!
И в будущем году помолятся опять,
И будет новый год им новою обидой...
Что, если бы встречать
Иначе: панихидой?

* * *

Я сказал ей: тротуары грязны,
Небо мрачно, все уныло ходят...
Я сказал, что дни однообразны
И тоску на сердце мне наводят,
Что балы, театры — надоели...
«Неужели?»

Я сказал, что в городе холера,
Те — скончались, эти — умирают...
Что у нас поэзия — афера,
Что таланты в пьянстве погибают,
Что в России жизнь идет без цели...
«Неужели?»

Я сказал: ваш брат идет стреляться,
Он бесчестен, предался пороку...
Я сказал, прося не испугаться:
Ваш отец скончался! Ночью к сроку
Доктора приехать не успели...
«Неужели?»

* * *

Свобода торговли, опека торговли —
Два разные способа травли и ловли:
Всегда по закону, в угоду купцу,
Стригут, так иль этак, все ту же овцу.

* * *

Каких-нибудь пять-шесть дежурных фраз;
Враждебных клик наскучившие схватки;
То жар, то холод вечной лихорадки,
Здесь — рана, там — излом, а тут — подбитый глаз!
Талантики случайных содержаний,
Людишки, трепетно вертящие хвосты
В минуты искренних, почтительных лизаний
И в обожании хулы и клеветы;
На говор похвалы наставленные уши;

Во всех казнах заложенные души;
Дела, затеянные в пьянстве иль в бреду,
С болезнью дряхлых тел в ладу...
Все это с примесью старинных, пошлых шуток,
С унылым пеньем панихид,—
Вот проявленья каждых суток,
Любезной жизни милый вид...

Песни из Уголка · 1895–1901

Посвящаются
А. А. Коринфскому
и Н. А. Котляревскому

* * *

Мы — разных областей мышленья...
Мы — разных сил и разных лет...
От вас мне слово утешенья,
От вас мне дружеский привет.

Мы шли различными путями,
Различно билось сердце в нас,
И мало схожими страстями
Мы жили в тот иль в этот час.

Но есть неведомые страны,
Где — в единении святом —
Цветут, как на Валгалле, раны
Борцов, почивших вечным сном.

Чем больше ран — тем цвет их краше,
Чем глубже — тем расцвет пышней!..
И в этом, в этом — сходство наше,
Друзья моих последних дней.

* * *

Здесь счастлив я, здесь я свободен,—
Свободен тем, что жизнь прошла,
Что ни к чему теперь не годен,
Что полуслеп, что эта мгла

Своим могуществом жестоким
Меня не в силах сокрушить,
Что светом внутренним, глубоким
Могу я сам себе светить

И что из общего крушенья
Всех прежних сил, на склоне лет,
Святое чувство примиренья
Пошло во мне в роскошный цвет...

Не так ли в рухляди, над хламом,
Из перегноя и трухи,
Растут и дышат фимиамом
Цветов красивые верхи?

Пускай основы правды зыбки,
Пусть все безумно в злобе дня,—
Доброжелательной улыбки
Им не лишить теперь меня!

Я дом воздвиг в стране бездомной,
Решил задачу всех задач,—
Пускай ко мне, в мой угол скромный,
Идут и жертва и палач...

Я вижу, знаю, постигаю,
Что все должны быть прощены;
Я добр — умом, я утешаю
Тем, что в бессильи все равны.

Да, в лоно мощного покоя
Вошел мой тихий «Уголок» —
Возросший в грудах перегноя
Очаровательный цветок...

* * *

Я мыслить жажду потому, что в этом —
Живой покой, святая тишина,
Все полно ясным, нетревожным светом,
В душе легко, и ясно даль видна!

И если мгла за некоторой гранью
Перед умом слегка скрывает даль,—
Страдать от этого немыслимо сознанью:
Мне жаль, что — мгла, но мне спокойно жаль...

Тогда как в чувствах столько острой боли,
Такая мощь безумной толчеи
Терзаний духа и страданий воли,—
Успокоенье только в забытьи,—

Что все восторги страстных наслаждений,
Всех оргий чувств за время лучших лет
Не искупят безвременных мучений,
Всегда идущих оргиям вослед...

Спеши, спеши в спокойствие мышленья,—
В нем нерушим довременный покой;
Там нет борьбы, не надобно прощенья,
Ты у себя — желанный и родной!..

* * *

Какая ночь! Зашел я в хату,
Весь лес лучами озарен
И, как по кованому злату,
Тенями ночи зачервлен.

Сквозь крышу, крытую соломой,
Мне мнится, будто я цветок
С его полуночной истомой,
С сияньем месяца у ног!

Вся хата — то мои покровы,
Мой цветень и листва моя...
Должно быть, все цветы дубровы
Теперь мечтают так, как я!

* * *

Воспоминанья вы убить хотите?!
Но — сокрушите помыслом скалу,
Дыханьем груди солнце загасите,
Огнем костра согрейте ночи мглу!..

Воспоминанья — вечные лампады,
Былой весны чарующий покров,
Страданий духа поздние награды,
Последний след когда-то милых снов.

На склоне лет живешь, годами согнут,
Одна лишь память светит на пути...
Но если вдруг воспоминанья дрогнут,—
Погаснет все, и некуда идти...

Копилка жизни! Мелкие монеты!
Когда других монет не отыскать —
Они пригодны! Целые банкеты
Воспоминанья могут задавать.

Беда, беда, когда средь них найдется
Стыд иль пятно в свершившемся былом!
Оно к банкету скрытно проберется
И тенью Бáнко сядет за столом.

* * *

Дайте, дайте мне, долины наши ровные,
Вашей ласковой и кроткой тишины!
Сны младенчества счастливые, бескровные,
Если б были вы второй раз мне даны!

Если б все,— да, все, — что было и утрачено,
Что бежит меня, опять навстречу шло,
Что теперь совсем не мне — другим назначено,
Но в минувший срок и для меня цвело!

Если б это все возникло по прошедшему,—
Как сумел бы я мгновенье оценить,
И себя в себе негаданно нашедшему
Довелось бы жизнь из полной чаши пить!

А теперь я что? Я — песня в подземелии,
Слабый лунный свет в горячий полдня час,
Смех в рыдании и тихий плач в веселии...
Я — ошибка жизни, не в последний раз...

* * *

Часто с тобою мы спорили...
Умер! Осилить не мог
Сердцем правдивым и любящим
Мелких и крупных тревог.

Кончились споры. Знать, правильней
Жил ты, не вкривь и не вкось!
Ты победил, Галилеянин!—
Сердце твое порвалось...

* * *

Сколько хороших мечтаний
Люди убили во мне:
Сколько сгубил я деяний
Сам, по своей же вине...

В жизни комедии, драмы,
Оперы, фарс и балет
Ставятся в общие рамы
Повести множества лет...

Я доигрался! Я — дома!
Скромен, спокоен и прав,—
Нож и пилу анатома
С ветвью оливы связав!

* * *

Пред великою толпою
Музыкаиты исполияли
Что-то полиое покоя,
Что-то близкое к печали;

Скромио плакали гобои
В излияиьях пасторальиых,
Кружевиые лились звуки
В чудиых фразах музыкальиых...

Но толпа вокруг шумела:
Ей иужны иные трели!
Спой ей песию о безумье,
О поругаииой постели;

Дай ей резких полутòнов,
Тактом такт перешибая,
И оиа зарукоплещет,
Ублажась и поиимая...

* * *

Вот — мои воспоминаиья:
Прядь волос, письмо, платок,
Два обрывка вышиванья,
Два кольца и образок...

Но — за темеиью былого —
В именах я с толку сбит.
Кто оии? Не дать ли слова
Что и я, как те, забыт!

В этом — времени учтивость,
Завершение всему,
Золотая справедливость:
Ничего и никому!..

* * *

Всегда, всегда несчастлив был я тем,
Что все те женщины, что близки мне бывали,
Смеялись творчеству в стихах! Был дух их нем
К тому, что мне мечтанья навевали.

И ни в одной из них нимало, никогда
Не мог я вызывать отзывчивых мечтаний...
Не к ним я, радостный, спешил в тот час, когда
Являлся новый стих счастливых сочетаний!

Не к ним, не к ним с новинкой я спешил,
С открытою, еще дрожавшею душою,
И приносил цветок, что сам я опылил,
Цветок, дымившийся невысохшей росою.

* * *

С простым толкую человеком...
Телега, лошадь, вход в избу...
Хвалю порядок в огороде,
Хвалю оконную резьбу.

Все — дело рук его... Какая
В нем скромных мыслей простота!
Не может пошатнуться вера,
Не может в рост пойти мечта.

Он тридцать осеней и весен
К работе землю пробуждал;
Вопрос о том, зачем все это,—
В нем никогда не возникал.

О, как жестоко подавляет
Меня спокойствие его!
Обидно, что признанье это
Не изменяет ничего...

Ему — раек в театре жизни,
И слез, и смеха простота;
Мне — злобы дня, сомненья, мудрость
И — на вес золота места!

* * *

Ты часто так на снег глядела,
Дитя архангельских снегов,
Что мысль в очах обледенела
И взгляд твой холодно-суров.

Беги! Направься к странам знойным,
К морям, не смевшим замерзать:
Они дыханием спокойным
Принудят взгляд твой запылать.

Тогда из новых сочетаний,
Где юг и север в связь войдут,
Возникнет мир очарований
И в нем — кому-нибудь приют...

* * *

Вот она, великая трясина!
Ходу нет ни в лодке, ни пешком.
Обмотала наши весла тина,—
Зацепиться не за что багром...

В тростнике и мглисто, и туманно.
Солнца лик и светел, и высок,—
Отражен трясиною обманно,
Будто он на дно трясины лег.

Нет в ней дна. Лежат в листах нимфеи,
Островки, луга болотных трав;
Вот по ним пройтись бы! Только феи
Ходят здесь, травинок не помяв...

Всюду утки, дупеля, бекасы!
Бьешь по утке... взял... нельзя достать;
Мир лягушек громко точит лясы,
Словно дразнит: «Для чего ж стрелять?»

Вы, кликуши, вещие лягушки,
Подождите: вот придет пора,—
По болотам мы начнем осушки,
Проберем трясину до нутра.

И тогда... Ой, братцы, осторожней!
Не качайтесь... Лодку кувырнем!
И лягушки раньше нас потопят,
Чем мы их подсушивать начнем...

* * *

Воды немного, несколько солей,
Снабженных слабою, животной теплотою,
Зовется издавна и попросту слезою...
Но разве в том определенье ей?

А тихий вздох людской! То — груди
содроганья,
Освобожденье углекислоты?!.
Определения, мутящие сознанье
И полные обидной пустоты!

* * *

Ты не гонись за рифмой своенравной
И за поэзией — нелепости оне:
Я их сравню с княгиней Ярославной,
С зарею плачущей на каменной стене.

Ведь умер князь, и стен не существует,
Да и княгини нет уже давным-давно;
А все как будто, бедная, тоскует,
И от нее не все, не все схоронено.

Но это вздор, обманное созданье!
Слова — не плоть... Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье,
Как нет в них также сил на то, чтоб убивать...

Нельзя, нельзя... Однако преисправно
Заря затеплилась; смотрю, стоит стена;
На ней, я вижу, ходит Ярославна,
И плачет, бедная, без устали она.

Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Уйми все песни, все! Вели им замолчать!
К чему они? Чтобы людей морочить
И нас, то здесь — то там, тревожить и смущать!

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене...

* * *

Ни слава яркая, ни жизни мишура,
Ни кисти, ни резца бессмертные красоты,
Ни золотые дни, ни ночи серебра
Не в силах иногда согнать с души дремоты.

Но если с детских лет забывшийся напев
Коснется нежданно притупленного слуха,—
Дают вдруг яркий цвет, чудесно уцелев,
Остатки прежних сил надломленного духа.

Совсем ребяческие, старые тона,
Наивность слов простых, давным-давно известных,
Зовут прошедшее воспрянуть ото сна,
Явиться в обликах живых, хоть бестелесных.

И счастье прежних дней, и яркость прежних сил,—
То именно, что в нас свершило все земное,
Вдруг из таинственно открывшихся могил
Сквозь песню высится: знакомое, живое...

* * *

Кому же хочется в потомство перейти
В обличьи старика! Следами разрушений
Помечены в лице особые пути
Излишеств и нужды, довольства и лишений.
Я стар, я некрасив... Да, да! Но, боже мой,
Ведь это же не я!.. Нет, в облике особом,
Не сокрушаемом ни временем, ни гробом,
Который некогда я признавал за свой,
Хотелось бы мне жить на памяти людской!
И кто ж бы не хотел? Особыми чертами
Мы обрисуемся на множество ладов —
В рассказах тех детей, что будут стариками,
В записках, в очерках, за длинный ряд годов.

И ты, красавица, не названная мною,—
Я много, много раз писал твои черты,—
Когда последний час ударит над землею,
С умерших сдвинутся и плиты, и кресты,—
Ты, как и я, проявишься нежданно,
Но не старухою, а на заре годов...
Нелепым было бы и бесконечно странно —
Селить в загробный мир старух и стариков.

* * *

Полдень прекрасен. В лазури
Малого облачка нет.
Даже и тени прозрачны,—
Так удивителен свет!

Ветер тихонько шевелит
Листьев подвижную сеть,

Топчется, будто на месте,
Мыслит: куда полететь?

Он, направленья меняя,
Думает думу свою:
Шквалом ли мне разразиться
Или предаться нытью?

* * *

На коне брабантском плотном
И в малиновой венгерке
Часто видел я девицу
У отца на табакерке.

С пестрой свитой на охоте
Чудной маленькой фигурой
Рисовалася девица
На эмали миньатюрой.

Табакерку заводили
И пружинку нажимали,
И охотники трубили
И собак со свор спускали.

Лес был жив на табакерке;
А девица все скакала
И меня бежать за нею
Чудным взглядом приглашала.

И готов я был умчаться
Вслед за нею — полон силы —
Хоть по небу, хоть по морю,
Хоть сквозь вечный мрак могилы...

А теперь вот здесь, недавно,—
Полстолетья миновало,—
Я опять девицу видел,
Как в лесу она скакала.

И за ней, как тощий призрак,
С котелком над головою
Истязался на лошадке
Барин, свесясь над лукою.

Я, девицу увидавши,
Вслед ей бешено рванулся,
Вспыхнув злобою и местью...
Но, едва вскочил, запнулся...

Да, не шутка полстолетья...
Есть всему границы, меркн...
Пусть их скачут котелочки
За девицей с табакерки!..

* * *

Ты любишь его всей душою,
И вам так легко, так светло...
Зачем же упрямством порою
Свое ты туманишь чело?

Зачем беспричинно, всечасно
Ты радости портишь сама
И доброе сердце напрасно
Смущаешь злорадством ума?

Довольствуйся тем, что возможно!
Поверь: вам довольно всего,
Чтоб, тихо живя, нетревожно,
Не ждать, не желать ничего...

* * *

Нет, верба́, ты опоздала,
Только к марту цвет дала,—
Знай, моя душа сызма́ла
Впечатлительной была!

Где же с ней идти в сравненье!
Не спросясь календаря,
Я весны возникновенье
Ясно слышу с января!

День подрос и стал длиннее...
Лед скололи в кабаны...
Снег глубок, но стал рыхлее...
Плачут крыши с вышины...

Пишут к праздникам награды...
Нет, верба, поверь мне, нет;
Вешним дням мы раньше рады,
Чем пускаешь ты свой цвет!

* * *

Гуляя в сияньи заката,
Чуть видную тень я кидал,
А месяц — в блистании злата —
Навстречу ко мне выплывал.

С двух разных сторон освещаем,
Я думал, что был окружен
Тем миром, что нами незнаем,
Где нет ни преград, ни сторон!

Под теплою, мягкою чернью
В листве опочивших ветвей
Сияла роса мелкой зернью
Недвижных, холодных огней.

Мне вспомнились чувства былые:
Полвека назад я любил
И два очертанья живые
В одном моем сердце носил.

Стоцветные чувства светились,
И был я блаженством богат...
Но двое во мне не мирились,
И месяц погас, и закат!

* * *

Нет, не от всех предубеждений
Я и поныне отрешен!
Но все свободней сердца гений
От всех обвязок и пелен.

Бледнеет всякая условность,
Мельчает смысл в любой борьбе...
В душе великая готовность
Свободной быть самой в себе;

И в этой правде — не слащавость,
Не праздный звук красивых слов,
А вольной мысли величавость
Под лязгом всех земных оков...

* * *

Любо мне, чуть с вечерней зарей
Солнце, лик свой к земле приближая,
Взгляды искоса в рощу бросая,
Сыплет в корни свой свет золотой;

Багрянистой парчой одевает
Листьев матовый, бледный испод...
Это — очень не часто бывает,
И вечернее солнце — не ждет.

* * *

Помню: как-то раз мне снился
Генрих Гейне на балу:
Разливалося веселье
По всему его челу...

Говорил он даме: «Дама,
Я прошу на польку вас!
Бал блестящ! Но вы так бледны,
Взгляд ваш будто бы погас!

Ах, простите! — я припомнил:
Двадцать лет, как вы мертвы!
Обращусь к соседке вашей:
Вальс со мной идете ль вы?

Боже мой! И тут ошибка!
Десять лет тому назад,
Помню, вас мы хоронили;
Устарел на вас наряд.

Ну, так к третьей... На мазурку! —
Ясно вам: кто я такой?»
— «Как же, вы — вы Генрих Гейне:
Вы скончались вслед за мной...»

И неслись они по зале...
Шумен, весел был салон...
Как, однако, милы пляски
Перешедших Рубикон!..

* * *

Я видел Рим, Париж и Лондон,
Везувий мне в глаза дымил,
Я вдоль по тундре Безземельной,
Везом оленями, скользил.

Я слышал много водопадов
Различных сил и вышины,
Рев медных труб в калмыцкой степи,
В Байдарах — тихий звук зурны.

Я посетил в лесах Урала
Потемки страшных рудников,
Бродил вдоль щелей и провалов
По льдам швейцарских ледников.

Я резал трупы с анато́мом,
В науках много знал светил,
Я испытал в морях крушенье,
Я дни в вертепах проводил...

Я говорил порой с царями,
Глубоко падал и вставал,

Я богу пламенно молился,
Я бога страстно отрицал;

Я знал нужду, я знал довольство, —
Любил, страдал, взрастил семью
И — не скажу, чтобы без страха, —
Порой встречал и смерть свою.

Я видел варварские казни,
Я видел ужасы труда;
Я никого не ненавидел,
Но презирал — почти всегда.

И вот теперь, на склоне жизни,
Могу порой совет подать:
Как меньше пользоваться счастьем,
Чтоб легче и быстрей страдать.

Здесь из бревенчатого сруба,
В песках и соснах «Уголка»,
Где мирно так шумит Нарова,
Задача честным быть легка.

Ничто, ничто мне не указка, —
Я не ношу вериг земли...
С моих высоких кругозоров
Все принижается вдали.

* * *

Велик запас событий разных
И в настоящем и в былом;
Историк в летописях связных
Живописует их пером.

Не меньше их необозримы
Природы дивные черты,
Они поэтом уловимы
При свете творческой мечты.

Но больше, больше без сравненья,
Пестрее тех, живей других
Людского духа воплощенья
И бытия сердец людских.

Они — причина всех событий,
Они — природы мысль и взгляд,
В них ткань судеб — с основой нитей
Гнилых и ветхих зауряд...

* * *

Качается лодка на цепи,
Привязана крепко она,
Чуть движет на привязи ветер,
Чуть слышно колышет волна.

Ох, хочется лодке на волю,
На волю, в неведомый путь,
И свернутый парус расправить,
И выставить на ветер грудь!

Но цепь и крепка, и не ржава,
И если судьба повелит
Поплыть, то не цепь оборвется,
А треснувший борт отлетит.

* * *

Припаи льда все море обрамляют;
Вдали видны буран и толчея,
Но громы их ко мне не долетают,
И ясно слышу я, что говорит хвоя.

Та речь важна, та речь однообразна, —
Едва колеблет длинный ряд стволов,
В своем теченьи величава, связна
И даже явственна, хоть говорит без слов.

В ней незаметно знаков препинаний,
В ней все одно, великое одно!
В живых струях бессчетных колебаний
Поет гигантское, как мир, веретено.

И, убаюкан лаской и любовью,
Не слыша стонов плачущей волны,
Я, как дитя, склоняюсь к изголовью,
Чтоб отойти туда, где обитают сны.

* * *

Совсем примерная семья!
Порядок, мир... Чем не отрада?
Но отчего вдруг вспомнил я
Страничку из судеб Царьграда:

По лику мертвого царя
Гуляют кистью богомазы,
И сурик, на щеках горя,
Румянит крупные алмазы;

Наведена улыбка губ,
Заштукатурены морщины...
А все же это — только труп
И лицевая часть картины!

* * *

Как ты чиста в покое ясном,
В тебе понятья даже нет
О лживом, злобном или страстном,
Чем так тревожен белый свет!

Как ты глупа! Какой равниной
Раскинут мир души твоей,
На ней вершинки — ни единой,
И нет ни звуков, ни теней...

* * *

Вы побелели, кладбища граниты;
Ночная оттепель теплом дохнула в вас;
Как пудрой белою, вы инеем покрыты
И белым мрамором глядите в этот час.

Другая пудра и другие силы
Под мрамор красят кудри на челе...
Уж не признать ли теплыми могилы
В сравненьи с жизнью в холоде и мгле?

* * *

Вот с крыши первые потеки
При наступленни весны!
Они — что писанные строкн
В снегах великой белнзны.

В них начннают проявляться
Весенней юностн черты,
Которым быстро развнваться
В тепле н в царстве красоты.

В ннх пробужденне под спудом
Еще не явленных мощей,
Что день — то будет новым чудом
За чудодействнем ночей.

Все струйки маленькнх потеков —
Безумцы и бунтовщикн,
Они замерзнут у нстоков,
Не добежать нм до рекн...

Но скоро, скоро днн настанут,
Освобожденные от тьмы!
Тогда бунтовщнками станут
Следы осиленной знмы;

Последней вьюги злые стоны,
Последний лед... А по полям
Победно глянут анемоны,
Все в серебре — назло снегам.

* * *

Мои мечты — что лес дремучий,
Вне климатических преград,
В нем — пальмы, ели, терн колючий,
Исландский мох и виноград.

Лес полн кикимор резвых шуток,
В нем леший вкривь и вкось ведет;
В нем есть все измененья суток
И годовой круговорот.

Но нет у них чередованья,
Законы путаются зря;
Вдруг в полдень — месяца мерцанье,
А в полночь — яркая заря!

* * *

Мысли погасшие, чувства забытые —
Мумии бедной моей головы,
В белые саваны смерти повитые,
Может быть, вовсе не умерли вы?
Жизни былой молчаливые мумии,
Время Египта в прошедшем моем,
Здравствуйте, спящие в тихом раздумии!
К вам я явился светить фонарем.
Вижу... как, в глубь пирамиды положены,
Все вы так тихи, так кротки теперь;
Складки на вас шевельнулись, встревожены
Ветром, пахнувшим в открытую дверь.
Все вы взглянули на гостя нежданного!
Слушайте, мумии, дайте ответ:
Если бы жить вам случилося заново —

Иначе жили бы вы? Да иль нет?
Нет мне ответа! Безмолвны свидетели...
Да и к чему на вопрос отвечать?
Если б и вправду они мне ответили,
Что ж бы я сделал, чтоб снова начать?
В праздном, смешном любопытстве назревшие,
Странны вопросы людские порой...
Вот отчего до конца поумневшие
Мумии дружно молчат предо мной!
Блещет фонарь над безмолвными плитами...
Все, что я чую вокруг, — забытье!
Свод потемнел и оброс сталактитами...
В них каменеет и сердце мое...

* * *

О, будь в сознаньи правды смел...
Ни ширм, ни за̀весей не надо...
Как волны дантовского ада
Полны страданий скорбных тел, —
Так и у нас своя картина...
Но только нет в ней красоты:
Людей заткала паутина...
В ней бьются все — и я, и ты...

* * *

Какое дело им до горя моего?
Свои у них, свои томленья и печали!
И что им до меня и что им до него?..
Они, поверьте мне, и без того устали.
А что за дело мне до всех печалей их?
Пускай им тяжело, томительно и больно...
Менять груз одного на груз десятерых,
Конечно, не расчет, хотя и сердобольно.

* * *

Всюду ходят привиденья...
Появляются и тут;
Только все они в доспехах,
В шлемах, в панцирях снуют.

Было время — вдоль по взморью
Шедшим с запада сюда
Грозным рыцарям Нарова
Преградила путь тогда.

«Дочка я реки Великой, —
Так подумала река, —
Не спугнуть ли мне пришельцев,
Не помять ли им бока?»

«Стойте, братцы, — говорит им, —
Чуть вперед пойдете вы,
Глянет к вам сквозь льды и вьюги
Страшный лик царя Москвы!

Он, схизматик, за стенами!
Сотни, тысячи звонниц
Вкруг гудят колоколами,
А народ весь прахом — ниц!

У него ль не изуверства,
Всякой нечисти простор;
И повсюдный вечный голод,
И всегдашний страшный мор.

Не ходите!» Но пришельцам
Мудрый был не впрок совет...
Шли до Яма и Копорья,
Видят — точно, ходу нет!

Все какие-то виденья!
Из трясин лесовики
Наседают, будто черти,
Лезут нá смерть, чудаки!

Как под Дурбэном эстонцы
Не сдаются в плен живьем
И, совсем не по уставам,
Варом льют и кипятком.

«Лучше сесть нам над Наровой,
На границе вьюг и пург!»
Сели и прозвали зáмки —
Магербург и Гунгербург.

С тем прозвали, чтобы звуки
Вновь не вздумали идти
К худобе и к голоданью
Вдоль по этому пути.

Старых рыцарей виденья
Ходят здесь и до сих пор,
Но для легкости хожденья —
Ходят все они без шпор...

* * *

Какая ночь убийственная, злая!
Бушует ветер, в окна град стучит;
И тьма вокруг надвинулась такая,
Что в ней фонарь едва-едва блестит.

А ночь порой красотами богата!
Да, где-нибудь нет вовсе темноты,

Есть блеск луны, есть прелести заката
И полный ход всем чаяньям мечты.

Тьма — не везде. Здесь чья-то злая чара!
Ее согнать, поверь, под силу мне:
Готовы струны, ждет моя гитара,
Я петь начну о звездах, о луне.

Они всплывут. Мы озаримся ими —
Чем гуще тьма, тем будет песнь ясней,
И в град, и в вихрь раскатами живыми
Зальется в песне вешний соловей.

* * *

Ты тут жила! Зимы холодной
Покров блистает серебром;
Калитка, ставшая свободной,
Стучит изломанным замком.

Я стар! Но разве я мечтами
О том, как здесь встречались мы,
Не в силах сам убрать цветами
Весь этот снег глухой зимы?

И разве в старости печальной
Всему прошедшему не жить?
И ни единой музыкальной,
Хорошей думы не сложить?

О нет! Мечта полна избытка
Воспоминаний чувств былых...
Вот, вижу, лето! Вот калитка
На петлях звякает своих.

Июньской ночи стрекотанье...
И плеск волны у берегов...
И голос твой... и обожанье, —
И нет зимы... и нет снегов!

* * *

Твоя слеза меня смутила...
Но я, клянусь, не виноват!
Страшна условий жизни сила,
Стеной обычаи стоят.

Совсем не в силу убежденья,
А в силу нравов, иногда
Всплывают грустные явленья,
И люди гибнут без следа,

И ужасающая драма
Родится в треске фраз и слов
Несуществующего срама
И намалеванных оков.

* * *

Как робки вы и как ничтожны, —
Ни воли нет, ни силы нет...
Не применить ли к вам, на случай,
Сельскохозяйственный совет?

Любой, любой хозяин знает:
Чтобы траве пышней расти,
Ее скосить необходимо
И, просушив, в стога свезти...

* * *

«Пара гнедых» или «Ночн безумиые» —
Яркие песни полиочных часов, —
Песии такие ж, как мы, неразумиые,
С трепетом, с дрожью больных голосов!..

Что-то в вас есть бескоиечно хорошее...
В вас отлетевшее счастье поет...
Словно весиа подойдет под порошею,
В сердце — истома, в душе — ледоход!

Тайиые встречи и оргии шумиые,
Грусть... иеудача... пропавшие дии...
Любим мы, любим вас, песни безумиые:
Ваши безумня иашим сродии!

* * *

Нет, не могу! Порой отвсюду,
Во тьме иочной и в свете дня,
Как крики совести Иуду —
Мечты преследуют меня.

В чаду какого-то кнпеиья
Несет волшебинца дрова,
Кладет в костер, н песиопеиья
Родятся силой колдовства!

Сгорает связь меж мной и ими,
Я стаиовлюсь им всем чужой
И пред созданьями своими
Стою с поникшей головой...

* * *

Здравствуй, товарищ! Подай-ка мне руку.
Что? Ты отдернул? Кажись, осерчал?
Глянь на мою, — нет ей места в гостиной;
Я, брат, недаром кустарник сажал.

Старый товарищ! Печальная встреча!..
Как искалечен ты жизнью, бедняк!
Ну-ка, пожалуй в мой дом, горемыка...
Что? Не желаешь? Не любо! Чудак!

Выпьем с тобой... Как? И пить ты не хочешь?
Просишь на выпивку на руки дать;
Темное чувство в тебе шевельнулось?..
Что за причина, чтоб мне отказать?

Гордость? Стыдливость? Сомнение? Злоба?
Коль потолкуем — причину найду...
Да не упрямься, мы юность помянем,
Дочку увидишь мою... — «Не пойду».

И отошел он по пыльной дороге,
Денег он взял, не сказав ничего...
Разных два мира в нас двух повстречались...
Камнем бы бросить... Кому и в кого?

* * *

Меня в загробном мире знают,
Там много близких, там я — свой!
Они, я знаю, ожидают...
А ты и здесь, и там — чужой!

«Ему нет места между нами, —
Вольны умершие сказать, —
Мы все, да, все, живем сердцами,
А он? Ему где сердце взять?

Ему здесь будет несподручно,
Он слишком дерзок и умен;
Жить в том, что осмеял он, — скучно,
Он не захочет быть смешон.

Все им поруганное — видеть,
Что отрицал он — осязать,
Без права лгать и ненавидеть,
В необходимости — молчать!»

Ты предвкуси такую пытку:
Жить вне злословья, вне витийств!
Там не подрежет Парка нитку,
Не может быть самоубийств!

В неисправимости былого,
Под гнетом страшного ярма,
Ты, бедный, не промолвишь слова
И там — не здесь — сойдешь с ума!

* * *

На сценах царские палаты
Вдруг превращают в лес и дол;
Часть тащат кверху за канаты,
Другую тянут вниз, под пол.

Весной так точно льдины тают:
Отчасти их луч солнца пьет,
Отчасти в глубь земли сбегают,
Шумя ручьями теплых вод!

Знать, с нас пример берет природа:
Чтоб изменить черты лица
И поюнеть к цветенью года —
Весну торопит в два конца...

* * *

Вконец окружены туманом прежних дней,
Все неподвижней мы, в желаньях тяжелей;
Все у́же горизонт, беззвучнее мечты,
На все спускаются завесы и щиты...

Глядишь в прошедшее, как в малое окно;
Там все так явственно, там все озарено,
Там светят тысячи таинственных огней;
А тут — совсем темно и, что ни час, темней...

Весь свет прошедшего как бы голубоват.
Цвет взглядов юности! Давно погасший взгляд!
И сам я освещен сиянием зари...
Заря в свершившемся! Любуйся и смотри!..

Как ясно чувствую и как понятно мне,
Что жизнь была полней в той светлой стороне!
И что за даль видна за маленьким окном —
В моем свершившемся, чарующем былом!

Ведь я там был в свой час, но я не сознавал.
И слышу ясно я — мне кто-то прошептал:
«Молчи! Довольствуйся возможностью смотреть!
Но, чтоб туда пройти, ты должен умереть!»

* * *

Соловья живые трели
В светлой полночи гремят,
В чувствах — будто акварели
Прежних, светлых дней скользят!

Ряд свиданий, ряд прощаний,
Ряд божественных ночей,
Чудных ласк, живых лобзаний...
Пой, о, пой, мой соловей!..

Пой! Греми волнами трелей!
Может быть, назло уму,
Эти грезы акварелей
Я за правду вдруг приму!

Пой! Теперь еще так рано,
Полночь только что прошла,
И сейчас из-за тумана —
Вот сейчас — она звала...

* * *

Бежит по краю неба пламя,
Блеснули по морю огни,
И дня поверженное знамя
Вновь водружается... Взгляни!

Сбежали тени всяких пугал,
И гномов темные толпы
Сыскали каждая свой угол,
И все они теперь слепы;

Не дрогнет лист, и над травою —
Ни дуновенья; посмотри,
Как все кругом блестит росою
В священнодействии зари.

Душа и небо, единеньем
Объяты, некий гимн поют,
Служа друг другу дополненьем...
Увы! на несколько минут.

* * *

Как думы мощных скал, к скале и от скалы,
В лучах полуденных проносятся орлы;
В расщелинах дубов и камней рождены,
Они на краткий срок огнем озарены —
И возвращаются от светлых облаков
Во тьму холодную родимых тайников, —

Так и мои мечты взлетают в высоту...
И вижу, что ни день, убитую мечту!
Все ту же самую! Размеры мощных крыл,
Размах их виден весь!.. Но кто окровенил
Простреленную грудь? Убитая мечта,
Она — двуглавая: добро и красота!..

* * *

Тьма непроглядна. Море близко, —
Молчит... Такая тишина,
Что комаров полночных песня —
И та мне явственно слышна...

Другая ночь, и то же море
Нещадно бьет вдоль берегов;
И тьма полна таких стенаний,
Что я своих не слышу слов.

А я все тот же!.. Не завишу
От этих шуток бытия, —
Меня влечет, стезей особой,
Совсем особая ладья.

Ей все равно: что тишь, что буря...
Друг! Полюбуйся той ладьей,
Прочти названье: «Все проходит!»
Ладьи не купишь, — сам построй!

* * *

Мой стих — он не лишен значенья:
Те люди, что теперь живут,
Себе родные отраженья
Увидят в нем, когда прочтут.

Да, в этих очерках правдивых
Не скрыто мною ничего!
Черты в них — больше некрасивых,
А краски — серых большинство!

Но если мы бесцветны стали, —
В одном нельзя нам отказать:
Мы раздробленные скрижали
Хоть иногда не прочь читать!

Как бы ауканье лесное
Иль эха чуткого ответ,
Порой доходит к нам былое...
Дойдет ли к внукам? Да иль нет?

* * *

В чудесный день высь неба голубая
Была светла;
Звучали с церкви, башню потрясая,
Колокола.

И что ни звук, то новые виденья
Бесплотных сил...
Они свершали на землю схожденья
Поверх перил.

Они, к земле спустившись, отдыхали
Вблизи, вдали...
И незаметно, тихо погасали
В тенях земли...

И я не знал под обаяньем звона:
Что звук, что свет?
Для многих чувств нет меры, нет закона
И прозвищ нет!..

* * *

Заката светлого пурпурные лучи
Стремятся на гору с сияющей низины,
И ярче пламени в открывшейся печи
Пылают сосен темные вершины...

Не так ли в Альпах горные снега
Горят, когда внизу синеет тьма тенями...
Жизнь родины моей! О, как ты к нам строга,
Как не балуешь нас роскошными дарами!

Мы силами мечты должны воссоздавать
И дорисовывать, чего мы не имеем:
То, что другим дано, нам надо отыскать,
Нам часто не собрать того, что мы посеем!

И в нашем творчестве должны мы превозмочь
И зиму долгую с тяжелыми снегами,
И безрассветную, томительную ночь,
И тьму безвременья, сгущенную веками...

* * *

А! Ты не верила в любовь! Так хороша,
Так явственно умна и гордостью богата,
Вся в шелесте шелков и веером шурша,
Ты зло вышучивала и сестру, и брата!
Как ветер царственный в немеряной степи,
Ты, беззаботная, по жизни проходила...
Теперь, красавица, ты тоже полюбила,
Насмешки кончились... Блаженствуй и терпи!

* * *

Как вы мне любы, полевые
Глубокой осени цветы!
Несвоевременные грезы,
Не в срок возникшие мечты!..

Вы опоздали в жизнь явиться;
Вас жгут морозы на заре;
Вам в мае надобно родиться,
А вы родились в октябре...

Ответ их: «Мы не виноваты!
Нас не хотели опросить,
Но мы надеждою богаты:
К зиме не будут нас косить!»

* * *

Не может юноша, увидев
Тебя, не млеть перед тобой:
Ты так волшебна, так чаруешь
Средневековой красотой!

И мнится мне: ты — шателéнка;
По замку арфы вкруг звучат,
К тебе в плюмажах и беретах
С поклоном рыцари спешат.

И я в раздумьи: как бы это
И мне, с лоснящимся челом,
В числе пажей и кавалеров
Явиться в обществе твоем?

И я решил: стать звездочетом,
Одеться в бархат — тьмы темней,
На колпаке остроконечном
Нашить драконов, сов и змей;

Тогда к тебе для гороскопа, —
Чтоб остеречь от зол и бед, —

В полночный час в опочивальню
Я буду призван на совет.

Тогда под кровом ночи звездной,
Тебе толкуя зодиак,
Я буду счастлив, счастлив... Только
Боюсь, чтоб не слетел колпак!

* * *

Серебряный сумрак спустился,
И сходит на землю покой;
Мне слышно движение лодки,
Удары весла за горой...

Пловец, мне совсем неизвестный,
От сердца скажу: добрый путь!
На труд ли плывешь ты, на радость,
На горе ли, — сча́стливым будь!

Я так преисполнен покоя,
Я так им богат, что возьми
Хоть часть, — мне достанет делиться
Со всеми, со всеми людьми.

* * *

Молчи! Не шевелись! Покойся недвижимо...
Не чуешь ли судеб движенья над тобой?
Колес каких-то ход свершается незримо,
И рычаги дрожат друг другу вперебой...
Смыкаются пути каких-то колебаний,
Расчеты тайных сил приводятся к концу,

Наперекор уму без права пожеланий,
И не по времени, и правде не к лицу...
О, если б, кажется, судьбою в бой рвануться!
Какой бы мощности порыв души достиг...
Но ты не шевелись! Колеса не запнутся,
Противодействие напрасно в этот миг.
Поверь: свершится то, чему исход намечен...
Но, если на борьбу ты не потратил сил
И этою борьбой вконец не изувечен,—
Ты можешь вновь пойти... Твой час не наступил.

* * *

Какая засуха!.. От зноя
К земле все травы прилегли...
Не подалась ли ось земная,
И мы под тропик подошли?

Природа-мать — лицеприятна;
Ведь, по рассказам, не слыхать,
Чтобы в Сахаре или в Коби
Могли вдруг льдины нарастать?

А здесь, на севере, Сахара!
Край неба солнце обожгло;
И даже море, обезумев,
Совсем далеко вдаль ушло...

* * *

Не храни ты ни бронзы, ни книг,
Ничего, что из прошлого ценно,
Все, поверь мне, возьмет старьевщик,
Все пойдет по рукам — несомненно.

Те почтенные люди прошли,
Что касались былого со страхом,
Те, что письма отцов берегли,
Не пускали их памятей прахом.

Где старинные эти дома —
С их седыми как лунь стариками?
Деды где? Где их опыт ума,
Где слова их — не шутка словами?

Весь источен сердец наших мир!
В чем желать, в чем искать обновленья?
И жиреет могильный вампир
Урожаем годов оскуденья...

* * *

О, неужели же на самом деле правы
Глашатаи добра, красот и тишины,
Что так испорчены и помыслы, и нравы,
Что надобно желать всех ужасов войны?

Что дальше нет путей, что снова проступает
Вся дикость прежняя, что, не спросясь, сплеча,
Работу тихую мышленья прерывает
И неожиданный, и злой удар бича...

Что воздух жизни затхл, что ржавчина и плесень
Так в людях глубоки и так тлетворна гниль,
Что нужны: пушек рев, разгул солдатских песен,
Полей встревоженных мерцающая пыль...

Людская кровь нужна! И стон, и бред больницы,
И сироты в семьях, и скорби матерей,

Чтоб чистую слезу виовь вызвать на ресиицы
Не вразумляемых другим путем людей, —

Чтоб этим их подиять, и жизии цель поставить
И дать задачу им по силам, по плечу,
Чтоб добрый пастырь мог прийти и мирио править
И иа торгующих не прибегать к бичу...

* * *

Горит, горит без копоти и дыма
И всюду сыплется по осени листва...
Зачем, печаль, ты так неодолима,
Так жаждешь вылиться и в звуки, и в слова?

Ты мие свята, моя печаль родная, —
Не тем свята ты мне, что ты — печаль моя;
Тебя порою в песне оглашая,
Совсем неволен я, пою совсем не я!

Поет во мне не гордость самомнеиья...
Нет, плач души слагается в размер,
Один из стоиов общего томленья
И безиадежиости всех чаяний, всех вер!

Вот оттого-то кто-иибудь и где-то
Во мие отзвучия своей тоске иайдет;
Быть может, мной ясиее будет спето,
Но ои, по-своему, со миой одно поет.

* * *

Меня здесь нет. Я там, далеко,
Там, где-то в днях пережитых!
За далью их не видит око,
И нет свидетелей живых.

Я там, весь там, за серой мглою!
Здесь нет меня; другим я стал,
Забыв, где был я сам собою,
Где быть собою перестал...

* * *

Здесь все мое! — Высь небосклона,
И солнца лик, и глубь земли,
Призыв молитвенного звона,
И эти в море корабли;

Мои — все села над равниной,
Стога, возникшие окрест,
Река с болтливою стремниной
И все былое этих мест...

Здесь для меня живут и ходят...
Мне — свежесть волн, мне — жар огня,
Туманы даже, те, что бродят, —
И те мои и для меня!

И в этом чудном обладанье,
Как инок, на исходе дней,
Пишу последнее сказанье,
Еще одно, других ясней!

Пускай живое песнопенье
В родной мне русский мир идет,
Где можно — даст успокоенье
И никогда ни в чем не лжет.

* * *

Что тут писано, писал совсем не я, —
Оставляла за собою жизнь моя;
Это — куколки от бабочек былых,
След заметный превращений временны́х.

А души моей — что бабочки искать!
Хорошо теперь ей где-нибудь порхать,
Никогда ее, нигде не обрести,
Потому что в ней, беспутной, нет пути...

Баллады, фантазии и сказы

СТАТУЯ

П. В. Быкову

Над озером тихим и сонным,
Прозрачен, игрив и певуч,
Сливается с камней на камни
Холодный железистый ключ.

Над ним молодой гладиатор:
Он ранен в тяжелом бою,
Он силится брызнуть водою
В глубокую рану свою.

Как только затеплятся звезды
И ночь величаво сойдет,
Выходят на землю туманы,
Выходит русалка из вод.

И, к статуе грудь прижимая,
Косою ей плечи обвив,
Томится она и вздыхает,
Глубокие очи закрыв.

И видят полночные звезды,
Как просит она у него
Ответа, лобзанья и чувства
И как обнимает его.

И видят полночные звезды
И шепчут двурогой луне,
Как холоден к ней гладиатор
В своем заколдованном сне.

И долго два чудные тела
Белеют над спящей водой...
Лежит неподвижная полночь,
Сверкая алмазной росой;

Сияет торжественно небо,
На землю туманы ползут;
И слышно, как мхи прорастают,
Как сонные травы цветут...

Под утро уходит русалка,
Печальна, бела и бледна,
И, в сонные волны спускаясь,
Глубоко вздыхает она...

МЕМФИССКИЙ ЖРЕЦ

Когда я был жрецом Мемфиса
Тридцатый год,
Меня пророком Озириса
Признал народ.

Мне дали жезл и колесницу,
Воздвигли храм;
Мне дали стражу, дали жрицу —
Причли к богам.

Во мне народ искал защиты
От зол и бед;

Но страсть зажгла мои ланиты
На старость лет.

Кляиусь! Клянусь бессмертиым Фтою, —
Широкий Нил,
Такой красы своей волною
Ты ие поил!..

Когда, молясь, оиа стояла
У алтаря
И красиым светом обливала
Ее заря;

Когда, склонив свои ресиицы,
И вся в огне,
Она по долгу первой жрицы
Кадила мие...

Я долго думал: царь по власти,
Я господии
Своей тоски и мощной страсти,
Моих седии;

Но я призиал, блестя в короне,
С жезлом в руке,
Свой приговор в ее поклоне,
В моей тоске.

Раз, службу в храме совершая,
Устав молчать,
Я, перстень свой сронив вставая,
Велел поднять.

Я ей сказал: «К началу иочи
Взойдет звезда,

Все лягут спать; завесив очи —
Придешь сюда».

Заря, кончаясь, трепетала
И умерла,
А ночь с востока набегала —
Пышна, светла.

И, купы звезд в себе качая,
Зажегся Нил;
В своих садах, благоухая,
Мемфис почил.

Я в храм пришел. Я ждал свиданья, —
И долго ждал;
Горела кровь огнем желанья, —
Я изнывал.

Зажглась румяная денница,
И ночь прошла;
Проснулась шумная столица, —
Ты не была...

Тогда, назавтра, в жертву мщенью,
Я, как пророк,
Тяжелой пытке и сожженью
Ее обрек...

И я смотрел, как исполнялся
Мой приговор
И как, обуглясь, рассыпался
Ее костер!

НА РАСКОПКАХ

Там, где царил Приам над Троею богатой, —
Могучим очерком рисуясь при луне,
Разбужено киркой, встревожено лопатой,
Виденье Гектора явилося ко мне.

Кругом пахучий хлам... На пепелище старом
Неслышной поступью бродила грустно тень
Вдоль обгорелых стен, расписанных пожаром,
И у развалины присела на ступень.

Молчат кирка и лом; вдали слышны шакалы;
Земля, разрытая, нагревом дня тепла;
И спят рабочие, улегшись на отвалы,
И тихо искрится в зеленом свете мгла.

И Гектор был один! И слухом раздраженным,
Не успокоенным могилою ничуть,
Он слышит копий свист, по шлемам позлащенным
Стук бронзовых мечей, удары их о грудь.

И Гектор думает: «О, мелочность людская,
Грабеж, допущенный в обители гробов!
Труд святотатственный! В вас жизнь, оскудевая,
Себе отыскивает в рухляди — обнов!

Сама лишенная простых и чистых красок,
Она их ищет там, где мир загробный спит,
И холод золота могильных наших масок
Им теплым кажется и пламенем горит!

Когда отроют их средь будущей пустыни,
Сменившей торжище, потомки не найдут
Ни неосмеянной во времени святыни,
Ни успокоенных в художестве минут.

Найдут осколки, лом без смысла и значенья,
Найдут могучий слой неведомых кладбищ;
Он возникал у них, лишенный попеченья,
Он будет, как они, глубоко пуст и нищ!»

И молча встала тень и обошла окопы...
Затеплилась заря в сияньях золотых,
И начали опять работать землекопы,
Тревожа мир теней для прибылей своих...

МЕРТВЫЕ БОГИ

И. П. Архипову

Тихо раздвинув ресницы, как глаз бесконечный,
Смотрит на синее небо земля полуночи.
Все свои звезды затеплило чудное небо.
Месяц серебряный крадется тихо по звездам...
Свету-то, свету! Мерцает окованный воздух;
Дремлет увла́женный лес, пересыпан лучами!
Будто из мрамора или из кости сложившись,
Мчатся высокие, изжелта-белые тучи;
Месяц, ныряя за их набежавшие гряды,
Золотом режет и яркой каймою каймит их!

Это не тучи! О нет! На ветра́х полуночи,
С гор скандинавских, со льдов Ледовитого моря,
С Ганга и Нила, из мощных лесов Миссисипи,
В лунных лучах налетают отжившие боги!
Тучами кажутся их непомерные тени,
Очи закрыты, опущены длинные веки,
Низко осели на царственных лицах короны,
Белые саваны медленно вьются по ветру,
В скорбном молчании шествуют мертвые боги!..

Как не заметить тебя, властелина Валгаллы?
Мрачен, как север, твой облик, Один седовласый!
Виден и меч твой и щит; на иззубренном шлеме
Светлою искрой пылает звезда полуночи;
Тихо склонил ты, развенчанный, белое темя,
Дряхлой рукой заслонился от лунного света,
А на плечах богатырских несешь ты лопату!
Уж не могилу ли станешь копать, седовласый?
В небе копаться и рыться, старик, запрещают...
Да и идет ли маститому богу лопата?

Ты ли, утопленник, сросшись осколками, снова
Мчишься по синему небу, Перун златоусый?
Как же обтер тебя, бедного, Днепр мутноводный?
Светятся звезды сквозь бледнопрозрачное тело;
Длинные пальцы как будто ногтями расплылись...
Бедный Перун! Посмотри: ведь ты тащишь кастрюлю!
Разве припомнил былые пиры да попойки
В гридницах княжьих, на княжьих дворах и охотах?
Полно, довольно, бросай ты кастрюлю на землю;
Жителям неба далекого пищи не надо,
Да и растут ли на небе припасы для кухни?

Как не узнать мне тебя, громовержец Юпитер?
Будто на троне сидишь ты на всклоченной туче;
Мрачные думы лежат по глубоким морщинам;
Чуется снизу, какой ты холодный и мертвый!
Нет ни орла при тебе, ни небесного грома;
Мчится, насупясь, твоя меловая фигура,
А на коленях качается детская люлька!
Бедный Юпитер! За сотни прожи́тых столетий
В выси небесной, за детски невинные шашни,
Кажется, должен ты нянчить своих ребятишек;
В розгу разросся давно обессиленный скипетр...
Разве и в небе полезны и люлька, и розги?

Много еще проносилось богов и божочков,
Мертвые боги — с богами, готовыми к смерти.
Мчались на сфинксах двурогие боги Египта,
В лотосах белых качался таинственный Ви́шну,
Кучей летели стозубые боги Сибири,
В чубах китайцев покоился Ли безобразный!
Пальмы и сосны, верблюды, брамины и маги,
Скальды, друиды, слоны, бердыши, крокодилы,
Дружно сплотившись и крепко насев друг на друга,
Плыли по небу одною великою тучей...

Чья ж это тень одиноко скользит над землею,
Вслед за богами, как будто богам непричастна,
Но, несомненней, чем все остальные, — богиня!
Тень одинокая, женщина без одеянья,
Вся неприветному холоду ночи открыта?!
Лик обратив к небесам, чуть откинувшись навзничь,
За спину руки подняв в безграничной истоме,
Грудью роскошною в полном свету проступая,
Движешься ты, дуновением ветра гонима...

Кто ты, прекрасная? О, отвечай поскорее!
Ты, Афродита, Астарта? Те обе — старухи,
Смяты страстями, бледны, безволосы, беззубы...
Где им, старухам! Скажи мне, зачем ты печальна,
Что в тебе ноет и чем ты страдаешь так сильно?
Может быть, стыдно тебе пролетать без одежды?
Может быть, холодно? Может быть... Слушай, виденье,
Ты — красота! Ты одна в сонме мертвых, живая,
Обликом дивным понятна; без имени, правда!
Вечная, всюду бессмертная, та же повсюду,
В трепете страсти издревле знакомая миру...
Слушай, спустись! На земле тебе лучше; ты ближе
Людям, чем мертвым богам в голубом поднебесье:
Боги состарились, ты — молода и прекрасна;

Боги бессильны, а ты, ты в избытке желаний,
Млеешь мучительно, в свете луны продвигаясь!

В небе нет юности, юность земле лишь доступна;
Храмы сердец молодых — ее вечные храмы,
Вечного пламени — вспышки огней одиночных!
Только погаснут одни, уж другие пылают...
Брось ты умерших богов, опускайся на землю,
В юность земли, не найдя этой юности в небе!
Боги тебя недостойны — им нет обновленья.

Дрогнула тень, и забегали полосы света;
Тихо качнулись и тронулись белые лики,
Их бессердечные груди мгновенно зарделись;
Глянула краска на бледных, изношенных лицах,
Стали слоиться, твой девственный лик сокрушая,
Приняли быстро в себя, отпустить не решившись!
Ты же, прекрасная, скрывшись из глаз, не исчезла —
Пала на землю пылающей ярко росою,
В каждой росинке тревожно дрожишь ты и млеешь,
Чуткому чувству понятна, без имени, правда,
Вечно присуща и все-таки неуловима...

ЛЮДСКИЕ ВЗДОХИ

Когда в час полуночный люди все спят,
И светлые звезды на землю глядят,

И месяц высокий, дробясь серебром,
В полях выстилает ковер за ковром,

И тени в причудливых гранях своих
Лежат, повалившись одни на других;

Когда в неподвижно сверкающий лес
Спускаются росы с высоких небес,

И белые тучи по небу плывут,
И горные кручи в туманах встают, —

Легки и воздушны в сияньи лучей,
На игры слетаются вздохи людей;

И в образах легких, светясь красотой,
Бесплотно рожденные светом и тьмой,

Они вереницей, незримо для нас,
Наш мир облетают в полуночный час.

С душистых сиреней, с яссминных кустов,
С бессонного ока, с могильных крестов,

С горящего сном молодого лица,
С опущенных век старика мертвеца,

Со слез, ускользающих в лунном свету,
Они собирают лучи на лету;

Собравши, венцы золотые плетут,
По спящему миру тревожно снуют

И гибнут под утро, при первых лучах,
С венцами на ликах, с мольбой на устах.

ПЕТР I НА КАНАЛАХ

Как по шпилям, верхам, шатровым куполам
Летним утром огонь разгорался!
Собирался царь Петр в самый мирный поход
И с женой Катериной прощался:

«Будь здорова, жена! Не грусти, что одна;
Много, видишь, каналов готово;
Еду их осмотреть, чтоб работе спореть...
Напиши, если что... Будь здорова!»

Глухо дебри лежат, над болотами спят...
Много дела — да силы-то малы!
Надо дебрь разбудить, чтоб ей тоже служить...
Пусть, мол, глянут по дебри каналы!

Где в колесном возке, где на бодром коне
Едет царь вековыми лесами;
Изучает страну, во всю ширь и длину
Наблюдает своими очами...

«Надо, надо взглянуть! Норовят все надуть!
Может, даже совсем не копают?
Поглядишь — простецы эти жмоты купцы!
А где страху им нет — надувают!»

День за ночью идет, потеряешь им счет,
Если ехать судьба без дороги!
Вот каналы пошли и блестят вдоль земли.
А землянки людей что берлоги.

И куда ни взгляни, только щепки, да пни,
Да отвалы идут земляные!
Гонит царская мочь, гонит пролежни прочь
Со здорового тела России.

Близок царь! Весть бежит! Привирает, мутит
И повсюду царя упреждает...
Призадумался вор! Царь-то больно востер!
Знаем, как, если иужно, коичает!

«Ой, уж как-то иам быть? Как нужде пособить?
Ведь не вырыто иами и трети
Из того, что должнó?.. Умирать суждеио...
Стукиет, гикиет: «А нуте-ка, дети!»

Нет, родные, шабàш, чуть появится иаш!
Разве, братцы, на хитрость пуститься?
Землю вырыть в длину, подогиать в ширину, —
Остальиое потом углубится!»

Собирался весь скоп. Повалил землекоп.
Уж платили-то, зиатио платили!
И каиалы прошли как им быть вдоль земли,
Провели и воды иапустили...

Яркий вечер горит, густо дебрь золотит,
И у самой у крайией лопаты
Царь с дубиикой в руке, в распашиом армяке,
Поверяет работы и платы.

И как в иебе заря — так лицо у царя
Все сияет! Ои жалует смехом!
И уж радостеи он, и уж как подареи
Неожиданиым вовсе успехом!

А поодаль стоит молчаливый сиклит
Хитрецов, мудрецов на захваты!
«Уж вот иа! Удалось! У Петра сорвалось!
Не замай иаших! Мы ли не хваты!»

Не пылать бы заре! Не блестеть бы воде!
Не валиться бы на воду мошкам!
Не казну б воровать, не Петра надувать,
Не подменивать блюда лукошком!

Головой царь поник... Потемнел его лик...
Дума черная радость хоронит...
«Отчего тут вода, — вздумал царь, — не туда,
Куда надо бы ей, мошку гонит?»

По откосу долой сходит тяжкой стопой
И, к воде подошедши, нагнулся,
И дубинку воткнул... Чуть конец затонул...
Подождал это царь... Оглянулся!..

Ох! Не небу гореть! Не царю бы краснеть!
Все, бледные, молчанье хранили...
А из царских очей, звезд вечерних ярчей,
Две слезы, две слезы проступили...

Ну, а там по пятам, в поученье ворам,
Как должно́, принялись за расправу...
Прав был вор, говоря про обычай царя:
Сокрушит, если что не по нраву!

О ПЕРВОМ СОЛДАТЕ

(Песня Семеновского полка)

Дело было очень просто:
Первый жил солдат Бухвостов
Двести лет назад;
С ним Петровская бригада

Народилась из наряда,
Стала в первый ряд!
Непригожи были, ма̀лы,
Фузей да самопалы,
Увалень — народ!
Ну, а все же с тем народом
Вышли первым мы походом
В Кожухов поход.
У стрельцов поднялись смехи
От кожуховской потехи;
Стрелец говорит:
«Сочинитель всех затеев
Бомбардир Петр Алексеев —
Чудеса творит!»
И потешные чудили!
Артику́л, устав учили,
Брали крепостцы,
А как было все готово,
Очутились у Азова, —
Вот так молодцы!
Стрельцы видят, осерчали,
Петру смертью угрожали;
Царь заговорил:
«Ну-ка, вы, моя пехота,
Вы птенцы, души забота,
Я ль вас не любил!
Не пора ли кончить разом,
Чтобы был конец проказам,
Козням старины!»
Петр сказал... Замолкли шашни...
Мало ль что видали башни
Кремлевской стены?!
Лиху было не до смеха!
Росла царская потеха,
Росла божья рать!

И задумал король швецкий
Рост потехи молодецкой,
Русский рост унять!
Сам он был малоголовый,
Шустрый, вострый и толковый, —
Дал Полтавский бой!
Лейб-гвардейцы были точны,
Гнали до Переволочны
Их перед собой...
Порешив Ништацким миром,
Занялись гвардейцы пиром, —
Горевал сосед!
Заварили браги, бражки
В честь Хмельницкого Ивашки,
Праздник делу вслед.
Петр тогда болота вытер
И поставил город Питер
Двести лет назад...
Вот как было дело просто
С той поры, как жил Бухвостов,
Первый наш солдат!

НОВГОРОДСКОЕ ПРЕДАНИЕ

Да, были казни над народом...
Уж шесть недель горят концы!
Назад в Москву свою походом
Собрались царские стрельцы.

Смешить народ оцепенелый
Иван епископа послал,
Чтоб, на кобылке сидя белой,
Он в бубны бил и забавлял.

И новгородцы, не переча,
Глядели бледною толпой,
Как медный колокол с их веча
По воле царской снят долой!

Сияет копий лес колючий,
Повозку царскую везут;
За нею колокол певучий
На жердях гнущихся несут.

Холмы и топи! Глушь лесная!
И ту размыло... Как тут быть?
И царь, добравшись до Валдая,
Приказ дал: колокол разбить.

Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор...

И, быль старинную вещая,
В тиши степей, в глуши лесной,
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой!..

КОРОНА ПАТРИАРХА НИКОНА

Есть в патриаршей ризнице в Москве
Среди вещей, достойных сохраненья,
Предмет большого, важного значенья,
Дававший пищу некогда молве,

Теперь в нем смысл живого поученья,
И этот смысл не трудно уловить...

Корона Никона! В ней — быть, или не быть
Царева друга, гордого монаха,
В ней след мечты, поднявшейся из праха;
И так и чувствуешь какой-то смутный страх,
Как бы стоишь у края грозной кручи...
Двум бурям не гудеть из той же самой тучи,
Двум солнцам не светить на тех же небесах!

И так и кажется: с церковного амвона,
Первовестителем духовного закона,
Он, Никон, шествует народ благословить;
Покорный причт толпится; услужить
Торопится... На Никоне корона!
Вот эта самая! По узкому пути
В неясном шепоте проносится толпою,
Что будет летописью, быв сперва молвою:
«Смотри, смотри! Бес вышел мир пасти!
«Два ценные венца несет над головою,
«Их будет семь! Он в злато облечен,
«Идет святителем, в нем бес неузнаваем,
«В Святом Писании он назван Абадонн...
«Слыхали ль? Нет? В ночи к палате царской
«Кольчатым змием бес по лестнице всползал,
«Играл с венцом царевым, проникал
«В синклит духовный и в совет боярский...
«Смотри, смотри, как шапка-то горит!
«Царев венец на ней не по уставу!
«То бес идет! Ведет свою ораву,
«Он тех прожжет, кого благословит»...

Молва, молва! В твоем ли беспокойном
Живом сознанье слышится порой,

В намеке быстром, в помысле нестройном,
Призыв набатный силы вечевой!
В твоем ребяческом и странном измышленье
Горит в глубокой тьме, в таинственном прозренье,
Сторожевая мысль по дремлющим умам!
Созданиям молвы, как детям в царство Бога,
Открыта издавна широкая дорога
До недр истории, ко всем ее мощам...

Корона! Шутка ли? Забытая, немая,
Объята грезою несбывшегося сна,
Она лежит теперь безмолвна и пышна,
Того, что думалось под ней, не разглашая.
Вокруг оглавия поднялись лепестки,
Блестя алмазами, высоко проступили
И царственным венцом отвсюду окружили
Монашеский клобук, зажав его в тиски.
В ней мысль воплощена, рожденная недаром!
Отвага в ней была и на успех расчет...
В ней были мор и смрад, и веяло пожаром
Всего того, чем силен стал народ!
В ней что-то чуждое воочию слагалось:
К родной нам церкви язва присосалась,
Опасным замыслом был мощный ум объят,
Годами бед и зол неслыханных чреват.

Но где-то там, внизу, в толпах, сознали рано,
Стихийной силою всей чуткости своей,
Что может изойти из гари и тумана
Двух перевившихся в единое огней!
Борьбой неравною народ мог быть осилен:
Как с патриархом быть — он сам пути нашел:
Ведь Никон — еретик, он книги перевел

Наверно с истиной, в них ряд улик обилен,—
И Никон пал, и начался раскол...

Народ метет порой великим дуновеньем...
Наскучив разбирать, кто прав и кто велик,
Сквозь мысли лживые, с их долгим самомненьем,
Он продвигает вдруг свой затемненный лик:
«Я здесь,— гласит тогда,— и вот чего желаю!
«Вот это,— молвит,— мне по сердцу, по плечу!
«Чего мне надобно, ясней других я знаю,
«А потому-то вас, как грезу сна, свеваю,
«Вас, жаждущих того, чего я не хочу!»
Народ... Народ... Он сам сложил свое былое!
Он дал историю! В ней все его права!
Другим успех и мощь в том или в этом строе,
Жизнь в наслоениях, законы в каждом слое,
Призванья пестрые... Но нам нужна Москва,
Москва единая над неоглядной ширью
Разбросанных везде рабочих деревень,
Нам, нам,— нехитрый быт, родных поверий сень,
И святость догмата, с каноном и псалтырью!
Нам песня, полная суровой простоты,
И дни короткие, и жгучие метели,
И избы дымные, и жесткие постели;
Несдержанный разгул, безумные мечты...
Нам заповедный труд томительных исканий,
Особый взгляд на все, на жизнь, на смерть, на честь...

Но у кого же, где, в годины испытаний
Мы силы черпаем, которые в нас есть?
Чей голос слышится, когда, гудя громами,
Война кровавая струит свинцовый дождь?!
Народ несет хоругвь отборными сынами,
Чтоб закрепить могильными холмами

Живой своей души испытаниую мощь!
Народ давал руля, когда в глухих порывах
Тяжелых смут, среди кипящих воли,
Случалось проводить в бушующих извивах
Стремнии губительных наш заповедный чели...
И будет так всегда...

О! Кто ж вести возьмется
Народ иа новый путь неясиых благостыиь!
И что дадут ему за то, что отберется?
Что троиет сердце в ием, и чем оно забьется
Над усыпальиицей развеичаиных святыиь?
Кто душу иовую, из иовых сочетаиий,
Путем иеведомых и темных волхвований,
Как вызов Божеству, на русский люд соткет,
И этой новою, улучшениой душою
Наполиит в ием все то, что стаиет пустотою,—
И что же, что тогда заговорит народ?..

КАМЕННЫЕ БАБЫ

На безлесном нашем юге,
На степных холмах,
Дремлют камениые бабы
С чарками в руках.

Ветер, степью пролетая,
Клоиит ковыли,
Бабам сказывает в сказках
Чудеса земли...

Как на севере, далеко,
На мохнатых псах,

Даже летом и без снега
      Ездят на санях.

Как у нас в речных лиманах
      Столько, столько рыб,
Что и ангелы господни
      Счесть их не могли б.

Как живут у нас калмыки,
      В странах кумыса̀,
Скулы толсты, очи узки,
      Редки волоса;

Подле них живут татары,
      Выбритый народ;
Каждый жен своих имеет,
      Молится — поет.

Как, в надежде всепрощенья,
      Каясь во грехах,
Много стариц ждут спасенья
      В дебрях и скитах;

Как, случается порою,
      Даже до сих пор,
Вдруг поймают люди ведьму —
      Да и на костер...

Как, хоть редко, но бывает:
      Точно осовев,
Бабу с бабой повенчают,
      Лиц не доглядев...

Как живых людей хоронят:
      Было, знать, село,

Да по бабью слову скрылось,
Под землю ушло...

Слышат каменные бабы
С чарками в руках,
Что нм сказывает ветер,
Рея в ковылях!

И иа сладкий зов иовиики
Шлют оии за иим
За песчиками песчиики...
И пройдут, как дым!

СЛУХ

Идет, бредет иелепый Слух
С беззубых ртов седых старух,
Везде пройдет, все подглядит,
К чему косится — зачернит;
Тут порычит, там заорет,
Здесь прочихиется, отойдет.
Ои, верио, здесь? Посмотрншь — нет,
Пропал за ннм и дух н след.

А он далеко за глаза
Гудит, как дальияя гроза...
С иим миого раз вступали в бой:
Стоит, как витязь ои чудиой,
Неясен обликом свонм,
Громадеи, глуп н иедвижим;
Сквозь сталь и бронзу шншака,
Сквозь лоб проходят облака!

В нем тела даже вовсе нет:
Сквозит на тень, сквозит на свет!
Ступнями Слух травы не мнет...
Но пусть, кто смелый, нападет:
Что ни удар, что ни рубец, —
Он все растет и под конец
Подступит вплоть, упрется в грудь,
Не даст и руку замахнуть...

А иногда своих сынков
Напустит Слух, как комаров;
Жужжит и вьется их народ
И лезет в уши, в нос и в рот;
Как ни отмахивай рукой,
Все тот же шум, все тот же рой...
А Слух-отец сидит при них,
Читая Житня святых...

ОБЕЗЬЯНА

На небе луна, и кругла и светла,
А звезды — ряды хороводов,
А черные тучи сложились в тела
Больших допотопных уродов.

Одеты поля серебристой росой...
Под белым покровом тумана
Вон дроги несутся дорогой большой, —
На гробе сидит обезьяна.

«Эй! Кто ты, что думаешь ночь запылить,
Коней своих в пену вогнàла?»

— «Я глупость людскую везу хоронить,
Несусь, чтоб заря не застала!»

— «Но как же, скажи мне, так гроб этот мал!
Не вся же тут глупость людская?
И кто ж хоронить обезьяну послал,
Обрядный закон нарушая?»

— «Я, видишь ли, вовсе не то, чем кажусь:
Я родом великая личность:
У вас философией в мире зовусь,
Порою же просто практичность;

Я некогда в Канте и Фихте жила,
В отце Шопенгауэре ныла,
И Германа Гартмана я родила,
И этим весь свет удивила.

И все эти люди, один по другом,
Все глупость людей хоронили
И думали: будто со мною вдвоем
Ума — что песку навозили.

Ты, чай, не профессор, не из мудрецов,
Сдаешься нехитрым и только:
Хороним мы глупости много веков,
А ум не подрос ни насколько!

И вот почему: чуть начнешь зарывать,
Как гроб уж успел провалиться —
И глупости здешней возможно опять
В Америке, что ли, явиться.

Что ночью схоронят — то выскочит днем;
Тот бросит — а этот находит...

Но ясно — чем царство пространнее,— в нем
Тем более глупостей бродит...»

— «Ах ты, обезьяна! Постой, погоди!
Проклятая ведьма, болтунья!..»
Но дроги неслись далеко впереди
В широком свету полнолунья...



ЗА СЕВЕРНОЙ ДВИНОЮ

(На реке Тойме)

В лесах, замкнувшихся великим, мертвым кругом,
В большой прогалине, и светлой, и живой,
Расчищенной давно и топором, и плугом,
Стою задумчивый над тихою рекой.

Раскннуты вокруг по скатам гор селенья,
На небе облака, что думы на челе,
И сумрак двигает туманные виденья,
И месяц светится в полупрозрачной мгле.

Готовится заснуть спокойная долина;
Кой-где окно избы мерцает огоньком,
И церковь древняя, как облик исполнна,
Слоящийся туман пронзила шишаком.

Еще поет рожок последний, замолкая.
В ночи так ясен звук! Тут — люди говорят,
Там — дальний перелив встревоженного лая,
Повсюду — мягкий звон покоящихся стад.

И Тойма тихая, чуть слышнымн струями,
Блистая искрами серебряной волны,
Свнвает легкимн, волшебными цепями
С молчаньем вечера мои живые сны.

Край без историй! Край мирного покоя,
Живущий в веяньи родимой старины,
В обычной ясности семейственного строя,
В покорности детей и скромности жены.

Открытый всем страстям суровой непогоды
На мертвом холоде нетающих болот —
Он жил без чаяний мятущейся свободы,
Он не имел рабов, но и не знал господ...

Под вечным бременем работы и терпенья,
Прошел он день за днем далекие века,
Не зная помыслов враждебного стремленья —
Как ты, далекая, спокойная река!..

Но жизнь иных основ, упорно наступая,
Раздвинувши леса, долину обнажит, —
Создаст, как и везде, бытописанья края
И пестрой новизной обильно подарит.

Но будет ли тогда, как и теперь, возможно
Над этой тихою неведомой рекой
Пришельцу отдохнуть так сладко, нетревожно
И так живительно усталою душой?

И будут ли тогда счастливей люди эти,
Что мирно спят теперь, хоть жизнь им не легка?..
Ночь! Стереги их сон! Покойтесь, божьи дети,
Струись, баюкай их, счастливая река!

В ЗАОНЕЖЬЕ

Верст сотнн на трн одинокнй,
Готовясь в дебрях потонуть,
Бежит на север нешнрокнй,
Почти всегда пустынный путь.

Порою, по часам по целым,
Ннкто не едет, не идет;
Трава под семенем созрелым
Между колéй его растет.

Унылый край в молчаньн тонет...
И, в звуках медленных, без слов,
Одна лишь проволока стонет
С пронумерованных столбов...

Во имя чьих, каких желанні
Ты здесь, металл, заговорнл?
Как непрерывный ряд стенанні,
Твой звук задумчнв н уныл!

Каким пророчествам тут сбыться,
Когда, решнвшнсь заглянуть,
Жизнь стонет раньше, чем роднться,
И стоном пролагает путь?!

ЦИНГА

Когда от хлябей н болот
И от гннлых торфяннков
Тлетворный дух в ночн ндет
В молочных облнках паров

И ищет в избы он пути,
Где человек и желт, и худ,
Где сытых вовсе не найти,
Где вечно впроголодь живут, —

Спешите мимо поскорей,
Идите дальше стороной
И прячьте маленьких детей:
Цинга гуляет над землей!

«Ах, мама! Глянь-ка из окна...
Там кто-то есть, наверно есть!
Вон голова его видна,
Он ищет щелку, чтоб пролезть!

Какой он белый и слепой!..
Он шарит пальцами в стене...
Он копошится за стеной...
Ах, не пускай его ко мне!»

Дитя горит... И сух язык...
Нет больше силы кликнуть мать...
Безмолвный гость к нему приник,
Припал! Дает собой дышать!

Как будто ластится к нему,
Гнетет дитя, раскрыл всего
И, выдыхая гниль и тьму,
Себя он греет об него...

Так, говорят, их много мрет
В лачугах, маленьких детей, —
Там, где живут среди болот,
У корелы́ и лопарей!

ВЕЧЕР НА ЛЕМАНЕ

Еще окрашены, на запад направляясь,
Шли одинокие густые облака,
И, красным столбиком в глубь озера спускаясь,
Горел огонь на лодке рыбака.
Еще большой паук, вися на нитке длинной,
В сквозную трещину развалины старинной,
Застигнутый росой, крутясь, не соскользнул;
Еще и сумерки, идя от щели к щели,
В прозрачной темноте растаять не успели
И ветер с ледников прохладой не тянул, —
Раздался звук... Он несся издалека,
Предвестник звезд с погасшего востока,
И, как струна, по воздуху звенел!
Он несся, и за ним, струями набегая,
То резок и глубок, то нежно замирая,
Вослед за звуком звук летел...
Они росли, гармония катилась,
И гром, и грохот, звучная, несла,
Давила под собой,— слабея, проносилась
И в тонком звуке чутко замерла...
А по горам высокий образ ночи,
Раскрывши синие, увлажненные очи,
По крыльям призраков торжественно ступая,
Он за бежавшим днем десницу простирал.
И в складках длинного ночного покрывала
Звезда вечерняя стыдливо проступала...

ОЗЕРО ЧЕТЫРЕХ КАНТОНОВ

И никогда твоей лазури ясной,
Сквозящей здесь по страшной глубине,
Луч солнца летнего своей улыбкой страстной,
Пройдя до дна, не нагревал вполне.

И никогда мороз зимы холодной,
Спустившись с гор, стоящих над тобой,
Не смел оковывать твоей пучины водной
Своей тяжелой, мертвенной броней.

За то, что ты не ведало, не знало
Того, что в нас, в груди людей живет, —
Не жглось огнем страстей, под льдом
не обмирало —
Ты так прекрасна, чаша синих вод.

СТРАСБУРГСКИЙ СОБОР

Когда случалось, очень часто,
Мне проходить перед тобой,
С одною башнею стоял ты —
Полуоконченный, хромой!

Днем, как по книге, по тебе я
О давнем времени читал;
Безмолвный мир твоих фигурок
Собою текст изображал.

Днем в отворявшиеся двери
Народ входил и выходил;
Обедня шла, и ты орга̀ном
Как бы из груди голосил.

Всё это двигалось и жило,
И даже ряд надгробных плит,
Казалось мне, со стен отвесных
В латинских текстах говорит.

А ночью двери закрывались,
Фигурки гибли с темнотой,

С одною башнею стоял ты —
Отвсюду запертый, немой!

И башня, как огромный палец
На титанической руке,
Писала что-то в небе темном
На незнакомом языке!

Не башня двигалась, но — тучи...
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь...

ВИСБАДЕН

В числе явлений странных, безобразных,
Храня следы отцов и дедов наших праздных,
Ключи целебных вод отвсюду обступая,
Растут, своим довольством поражая,
Игрушки-города. Тут, были дни, кругом,
Склонясь, насупившись над карточным столом,
Сидели игроки. Блестящие вертепы
Плодились быстро. Деды наши, слепы,
Труды своей земли родимой расточали;
Преображались наши русские печали
Чужой земле в веселье! Силой тяготенья
Богатств влеклись к невзрачным городкам
Вся тонкость роскоши, все чары просвещенья!
Везде росли дворцы; по старым образцам
Плодились парки; фабрики являлись,
Пути прокладывались, школы размножались.
И богатела, будто в грезах сна,
Далеко свыше сил окрестная страна!..
Каким путем лес русский, исчезая,

Здесь возникал, сады обсеменяя?
Как это делалось, что наши хутора,
Которых тут да там у нас недосчитались,
На родине исчезнув, здесь являлись:
То в легком стиле мавританского двора,
То в грузном, римском, с блещущим фронтоном,
Китайским домиком с фигурками и звоном!
И церкви русские взрастали здесь не с тем,
Чтоб в них молиться!.. Нет, пусть будет нем,
Пусть позабудется весь ход обогащенья
Чужой для нас земли. Пусть эти города
Растут, цветут,— забывши навсегда
Причины быстрого и яркого цветенья!..

На разные случаи и смесь

ПОСЛЕ ПОХОРОН Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

И видели мы все явленье эпопеи...
Библейским чем-то, средневековым,
Она в четыре дня сложилась с небольшим
В спокойной ясности и красоте идеи!

И в первый день, когда ты остывал
И весть о смерти город обегала,
Тревожной злобы дух недоброе шептал,
И мысль людей глубоко тосковала...

Где вы, так думалось, умершие давно,
Вы, вы, ответчики за раннюю кончину,
Успевшие измять, убить наполовину
И этой жизни чистое зерно!

Ваш дух тлетворный от могил забытых
Деянье темное и после вас вершит,
От жил, в груди его порвавшихся, открытых,
От катафалка злобно в нас глядит...

И день второй прошел... И вечер, наступая,
Увидел некое большое торжество:
Толпа собралась шумная, живая,
Другого чествовать, поэта твоего!..

Гремели песни с освещенной сцены,
Звучал с нее в толпу могучий, сильный стих,
И шли блестевшие огнями перемены
Людей, костюмов и картин живых...
И в это яркое и пестрое движенье,
Где мягкий голос твой назначен был звучать,
Внесен был твой портрет,— как бледное виденье,
Нежданной смерти ясная печать!
И он возвысился со сцены — на престоле,
В огнях и звуках, точно в ореоле...
И веяло в сердца от этого всего
Сближением того, что живо, что мертво,
Рыданьем, радостью, сомненьями без счета,
Всей страшной правдою «Бесов» и «Идиота»!..
Тревожной злобы дух — он уставал шептать!
Надеяться хотелось, верить, ждать!..

Три дня в туманах солнце заходило,
И на четвертый день, безмерно велика,
Как некая духовная река,
Тебя толпа в могилу уносила...
Зима, испугана как будто, отступила
Пред пестротой явившихся цветов!
Качались перья пальм, и свежестью листов
Сияли лавры, мирты зеленели!
Разумные цветы слагались в имена,
В слова,— как будто говорить хотели...
Чуть видной ношею едва отягчена,
За далью серой тихо исчезая,
К безмолвной лавре путь свой направляя,
Тихонько шла река, и всей своей длиной
Вторúла хорам, певшим: «Упокой!»
В умах людских, печальных и смущенных,
Являлась мысль: чем объяснить полней
Стремленье волн людских и стягов похоронных,

Как не печалью наших тяжких дней,
В которых много так забытых, оскорбленных,
Непризнанных, отверженных людей?
И в ночь на пятый день, как то и прежде было,
Людей каких-то много приходило
Читать псалтырь у головы твоей...
Там ты лежал под сенью балдахина,
И вкруг тебя, как стройная дружина
Вдруг обратившихся в листву богатырей,
Из полутьмы собора проступая
И про тебя былину измышляя,
Задумчивы, безмолвны, велики,
По кругу высились лавровые венки!
И грудой целою они тебя покрыли,
Когда твой яркий гроб мы в землю опустили...
Морозный ветер выл... Но ранее его
Заговорила сдержанная злоба
Вдогонку шествию довре́менного гроба!
По следу свежему триумфа твоего
Твои товарищи и из того же круга,
Служа́щие давно тому же, что и ты, —
Призванью твоему давали смысл недуга,
Тоске предвиденья — смысл тронутой мечты!..
Да, да, действительно — бессмертье наступало,
Заговорило то, что до того молчало
И распинало братьев на кресты!

И приняла тебя земля твоей отчизны;
Дороже стала нам одною из могил
Земля, которую, без всякой укоризны,
Ты так мучительно и смело так любил!

СНЫ

В деревне под столицею
Драгунский полк стоит,
Кипят котлы, ржут лошади,
И генерал кричит...

Качая коромыслами,
Веселою толпой,
Приходят утром девушки
К колодцу за водой.

Пестры одежды легкие,
Бойка, развязна речь;
Подвязаны передники
Почти у самых плеч.

Как будто в древней древности,
Идя на грязный двор,
Так подвязали бабушки —
Так носят до сих пор.

Живые глазки заспаны,
Измяты ленты кос,
Пылают щеки плотные
Огнем последних грез.

И видно, как, незримые,
Под шепот тишины,
Ласкали, целовали их
Полуночные сны;

Как эти сны оставили,
Сбежавши впопыхах,
На пальцах кольца медные
И фабру на щеках!

КОЛЛЕЖСКИЕ АСЕССОРЫ

В Кутаиси и подле, в окрестиостях,
Где в долинах, над склоиами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал...

Где ни гипс, ни лопата, ни светопись
Не являлись работать на спрос;
Где ползут по развалинам щели,
Вырастает песчаный иаиос;

Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит;

Где на кладбищах, вовсе неведомых,
В завитушках крутясь, письмена
Ждут, чтоб в них знатоки разобрали
Разных, чуждых людей имена, —

Там и русские буквы читаются!
Молчаливо улегшись рядком,
Все коллежские дремлют асессоры
Нерушимым во времени сном.

По соседству с забытой Колхидою,
Где так долго стонал Прометей;
Там, где Ноев ковчег с Арарата
Виден изредка в блеске ночей;

Там, где время, явившись наседкою,
Созидая народов семьи,
Отлагало их в недрах Кавказа,
Отлагало слои на слои;

Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, —
Там коллежские наши асессоры
Подходящее место нашли...

Тоже эпос! Поставлен загадкою
На гробницах армянских долин
Этот странный, с прибавкою имени
Не другой, а один только чин!

Говорят, что в указе так значилось:
Кто Кавказ перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином,
Знать, коллежским асессором быть...

И лежат эти прахи безмолвные
Нарожденных указом дворян...
Так же точно их степь приютила,
Как и спящих грузин и армян!

С тем же самым упорным терпением
Их плывучее время крушит,
И чуть-чуть нагревает их летом,
И чуть-чуть по зиме холодит!

Тот же коршун сидит над гробницами,
Равнодушен к тому, кто в них спит!
Чистит клюв, обагренный добычей,
И за новою зорко следит!

Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей, и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной...

ПОСЛЕ КАЗНИ В ЖЕНЕВЕ

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.

Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь полили.

Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...

И я вытягивался в пытке небывалой
И став звенящею, чувствительной струной,—
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!

Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш господь» тоскливо напевала,
И я вторил ей, жалобно звеня!..

* * *

Забыт обычай похоронный!
Исчезли факелов ряды
И гарь смолы, и оброненный
Огонь — горящие следы!

Да, факел жизни вечиой темой
Сравнеиья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шлн за гробом до могнл!

Так нужно, думалось. Смнримся!
Жизнь — факел! Сколько нх подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.

Теперь другнм, новейшнм чином
Мы возим к кладбищам людей;
Коптят дешевым керосином
Глухне стекла фонарей;

Дорога в вечность не дымится,
За намн следом нет огня,
И нет нам временн молиться
В иемолчной сутолоке дня;

Не нарушаем мы порядка,
Бросая искры по пути,
Хорошим быстро, чнсто, гладко —
И вслед нам нечего мести!

ПАМЯТИ А. А. ГРИГОРЬЕВА

**(25 сентября 1889 г.,
на Митрофаньевском кладбище)**

Здесь, в полной осеии, в лнстве
С ее смертельной позолотой,
В немых гробах, в сухой траве
Лежат, полегши не охотой, —
Лежат, как стежкн на канве,
Рнсунок иекнй выполняя,

Ряды бессчетные людей;
Здесь смерть парит, здесь воля ей,—
Царит, забрала не снимая.

Но если где-нибудь, когда,
Во имя сердца и труда,
Во имя долгого страданья,
Глубоко страстного призванья
Мысль и над смертию царит, —
Так это здесь!.. Григорьев спит
Сном непробудным! Но живая
Его душа, вся огневая,
И сквозь металл, и сквозь гранит
Что день — то ярче проступает...
Да! Темень смерти свет рождает,
И почек будущей весны
Все ветви кладбища полны...

НА РАЗДЕЛЬНОЙ
(После Плевны)

К вокзалу железной дороги
Два поезда сразу идут;
Один — он бежит на чужбину,
Другой же — обратно ведут.

В одном по скамьям новобранцы,
Все юный и целый народ;
Другой на кроватях и койках
Калек бледноликих везет...

И точно как умные люди,
Машины, в работе пыхтя,
У станции ход уменьшают,
Становятся ждать, подойдя!

Уставились окна вагонов
Вплотную стекло пред стеклом;
Грядущее виделось в этом,
Былое мелькало в другом...

Замолкла солдатская песня,
Замялся, иссяк разговор,
И слышалось только шаганье
Тихонько служивших сестер.

В толпе друг на друга глазели:
Сознанье чего-то гнело,
Пред кем-то всем было так стыдно
И так через край тяжело!

Лихой командир новобранцев, —
Имел он смекалку с людьми, —
Он гаркнул своим музыкантам:
«Сыграйте ж нам что, черт возьми!»

И свеялось прочь впечатленье,
И чувствам исход был открыт:
Кто был попрочней — прослезился.
Другие рыдали навзрыд!

И, дым выпуская клубами,
Машины пошли вдоль колей,
Навстречу судьбам увлекая
Толпы безответных людей...

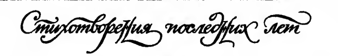
* * *

Улыбнулась как будто природа,
Миновал Спиридон-поворот,
И, на смену отжившего года,
Народилось дитя — Новый год!

Вьются кудри! Повязка над ними
Светит в ночь Вифлеемской звездой!
Спит земля под снегами немыми —
Но поют небеса над землей.

Скоро, скоро придет пробужденье
Вод подземных и царства корней,
Сгинет святочных дней наважденье
В блеске вешних, ликующих дней;

Глянут реки, озера и море,
Что зимою глядеть не могли,
И стократ зазвучит на просторе
Песнь небесная в песнях земли.



ЦЫГАНКА

Потрясая бубенцами,
Позументами блестя,
Ты танцуешь перед нами,
Степи вольное дитя!

Грудь — подвижна, плечи — живы!
Взгляды жгучих, черных глаз—
Это дерзкие призывы
К страсти каждого из нас...

Но под пологом палатки,
В сокровенный час ночной,
Кто ж отважится на схватки
С непокорною тобой?

Знаю кто! Вот там в сторонке,
Руку сунув за кафтан,
Смотрит вслед красивой женке
Темно-бронзовый цыган.

Этот... Он отдернет полог
Мускулистою рукой...
Будет сон ваш тих и долог
Под палаткою родной...

Как смеешься ты над нами,
Степи вольное дитя,
Потрясая бубенцами,
Позументами блестя!

* * *

Смотрит тучка в вешний лед,
Лед ее сиянье пьет.
Тает тучка в небесах,
Тает льдина на волнах.

Облик, тающий вдвойне,
И на небе и в волне, —
Это я и это ты,
Оба — таянье мечты.

* * *

Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест струй не слышит он.

Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.

* * *

«Ты поклянись,— она его просила, —
И верен будь тому, что изречешь,
Что этой песни — в ней большая сила —
Ты никому, как мне, не запоешь.

Не запоешь, когда ко мне на смену
Придет другая с новой красотой,
И я утрачу прелести и цену
Перед твоей окованной мечтой.

Другие песни пой, коль запоются.
Кому, и где, и как — мне все равно.
Но лишь бы этой песне вновь проснуться
И повториться не было дано.

С меня писал ты, я тебя ласкала,
Я, я низала нити чудных снов,
Я с нею вместе чувством трепетала...
Спускала с плеч последний свой покров.

Та песнь моя! вся, вся без исключенья...»
Он клятву дал... и наконец запел,
Когда в час смерти, в облике виденья
Ее он вновь пришедшую узрел.

РЕЦЕПТ МЕФИСТОФЕЛЯ

Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!

Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!

У передохнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!

Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!

Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею,
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.

БЫТЬ ЛИ ПЕСНЕ?

Какая дерзкая нелепость
Сказать, что будто бы наш стих,
Утратив музыку и крепость,
Совсем беспомощно затих!

Конечно, пушкинской весною
Вторично внукам, нам, не жить:
Она прошла своей чредою
И вспять ее не возвратить.

Есть весны в людях, зимы глянут,
И скучной осени дожди,

.8 3

Придут морозы, бури грянут,
Ждет много горя впереди...

Мы будем петь их проявленья
И вторить всем проклятьям их;
Их завыванья, их мученья
Взломают вглубь красивый стих...

Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты;

Ударясь в стоны и рыданья,
Путем томления пройдешь.
Минуешь много лет страданья —
И наконец весну найдешь!

То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.

* * *

Перед большим успокоеньем,
Когда умру я, но не весь,
Покой тот с истым наслажденьем
Мной предвкушается и здесь.

Покой в отсутствии желаний,
В признаньи мощности судьбы,
Покой вне дерзостных исканий,
Вне всяких странствий и борьбы!

8 Заказ 1191

Бой кончен! Поднято забрало!
Чего здесь в жизни ожидать?!
Какое дивное начало
Тому, что может мне предстать!

Да, радость смерти предвкушая,
Мой ум спокойный не дерзнет
Куда-то вновь пойти мечтая,
Куда-то вновь смотреть вперед.

Но я боюсь еще, что можно
Вернуться нéжданно назад,
Когда и дерзко и безбожно
Зажжет мне душу женский взгляд!

Покров покоя я откину
И, словно эллин древних дней,
Бесстыдно оправдаю Фрину,
Чуть только выйдет из зыбей.

* * *

Зыбь успокоенного моря
Идет по памяти моей...
Я стар. И радостей и горя
Я вызвал много у людей.

Я вызывал их, но невольно,
Я их не мог не вызывать...
Ведь и земле, быть может, больно
Пространства неба рассекать!

А все же двигаться ей надо...
Мы тоже движемся, летим!

В нас зло смеются силы ада
И горько плачет херувим.

И только изредка мы властны,
Случайно, правда, не всегда,
Бывать к судьба́м людей причастны,
Как у машины провода.

Вот так и я! Болев душою
Над горем брата своего,
Я хлеба не давал порою,
Но я не отравлял его!

Я мог бы быть гораздо хуже,
Служа судьбе проводником...
Все знают: вслед великой стуже
Морозец кажется теплом!

Он не несет окоченenья,
Он может даже согревать,
И для весеннего цветенья
Стволы и почки сохранять.

Да! Много сеял я несчастья!
Но я далеко не из тех,
Кто любит зло из любострастья,
В ком воплощен и ходит Грех!

ЛЕЗГИН

Свершивши раннюю молитву,
Пока проснется генерал,
Старик-лезгин кряхтит и чистит
Полуаршинный свой кинжал!

На лезвии, в сияньи солнца,
В насечках букв — Корана стих;
Старик как будто видит что-то
В клинке, сквозь пальцы рук своих...

Из-под папах в кустах — винтовки
По русским целятся войскам...
Вон дымки выстрелов, вон пушки,
Вон генералы, вон — имам!..

Дымится дуло пистолета,
Лезгин сует его в кабур,
Глядит: на этот раз удача —
Упал и корчится гяур...

Спешат в аул... Победа, радость!
Там блеск чарующих очей,
Там — вин холодные кувшины,
Там песни старых узденей...

Кинжал дрожит... Другие виды...
И длинный ряд живых картин...
Перед лицом воспоминаний
Расхорохорился лезгин!

Забыл, что больше нет Кавказа,
Нет тех времен, нет тех людей!

Явились в жизнь ключи Боржома;
Есть нефть, но нет жрецов огней!

Клокочет жизнь неудержимо,
Бушует сердце старика...
Но вдруг — звонок,— мечты исчезли
От генеральского звонка!

Кинжал в ножнах. Собравши платье,
Лезгин торопится служить
И к генеральской папироске
Подносит спичку закурить!

Неизданные стихотворения

* * *

Чудесный сон! Но сон ли это?
Так ясен он, так ощутим!
В мельканьи трепетного света
Он, как ваянье, недвижим!

Мне снилась юность золотая
И милой женщины черты
В расцвете радостного мая...
Скажи! Признайся! Это ты?

Но как мне жаль, что я старею,
Что только редко, иногда,
Дерзаю бледную лилею
Окрасить пурпуром стыда.

* * *

Она — растенье водяное
И корни быстрые дает
И населяет голубое,
Ей дорогое царство вод!

Я — кактус! Я с трудом великим
Даю порою корешок,

Я неуклюж и с видом диким
Колол и жег что только мог.

Не шутка ли судьбы пустая?
Судьба, смеясь, сближает нас.
Я — сын песков, ты — водяная.
Тс! тише! то видений час!

* * *

Снежною степью лежала душа одинокая,
Только порою заря в ней румянец рождала,
Только безмолвная лунная ночь синеокая
Отблеском жизни безмолвную степь наводняла!

Чует земля: степь в угрюмом молчании мается.
Дай-ка, подумала, тихо дохну я туманами...
Доброю стала земля! Ось к весне наклоняется,
Степь обнажилась и вся расцветилась тюльпанами!

Так ли, не так, наяву иль во сне быстротающем,
В сказке, не в сказке, но некою злой ворожбою
Ты наклонилась ко мне своим взглядом блистающим...
Дрогнула степь, я цвету, я алею тобою...

* * *

Учит день меня:
Не люби ее!
Учит ночь меня:
Все ее — твое!

Я с ума схожу
В этих да и нет!
Ночь! цари одна!
Гасни, солнца свет.

* * *

Налетела ты бурею в дебри души!
В ней давно уж свершились обвалы,
И скопились на дне валуны, катыши
И разбитые вдребезги скалы!

И раздался в расщелинах трепетный гул!
Клики радостей, вещие стоны...
В ней проснулся, как будто бы мертвый аул,
Все в нем спавшие девы и жены!

И гарцуют на кровных конях старики,
Тени мертвые бывших атлетов,
Раздается призыв, и сверкают клинки,
И играют курки пистолетов.

* * *

Сегодня день, когда идут толпами
На гробы близких возлагать венки...
О, не скупись последними цветами!
Не пожалей движения руки!

На грудь мою клади венок твой смело!
Вторично ей в любви не умирать...
Как я любил... как страсть во мне горела...
Из-под венка, поверь мне, не узнать.

* * *

Ярко вспыхивают розы,
Раскрываясь по кустам,
И горят в лучах полудня,
Пламенея тут и там.

Отцветут они, погаснут
Быстро, вслед одна другой,
Осыпая лепестками
Куст колючий, но родной...

Я ревнив, моя голубка!
Верь, не быть тебе ничьей:
На груди моей цвела ты
И осыплешься на ней!

* * *

Я ясно сознаю, что часто надо мной —
Над помышленьями, никак не над душой, —
Проходит облако; вдруг думы оттенит
И придает всему нежданно новый вид!
Сквозь что-то будто бы идет тревожный свет...
И краски новые бегут, которых нет.

И ты, красавица! мне мнилось, будто вдруг,
Знак святости твоей, дискообразный круг
Над головой твоей, кто б думать это мог,
Преобразился вдруг в вакхический венок!

* * *

Не Иудифь и не Далила
Мой идеал! Ты мне милей
Той белой грудью, что вскормила
Твоих двух маленьких детей!

Девичья грудь — она надменна,
Горда! ее заносчив взгляд!
Твоя — скромна и сокровенна
И мне милее во сто крат!

Она мной чуется так ярко,
Сквозь ткань одежд твоих светла...
Предупредил меня Петрарка:
Лаура девой не была.

ДИКИЙ ЦВЕТОК

Дикий цветок, ты меня полюбила
И в беззастенчивой страсти твоей
Светом горячей любви окаймила
Скорбные пустоши старческих дней!

Дикий цветок, я тогда не заметил,
Как эта страсть родилась, как цвела:
Видно, слепым был, не в пору ответил —
Вижу теперь, как она убыла...

Ты говоришь мне: «О, как я любила!
Как я любила... нет, ты бы не мог...»
Правда твоя! ты мне очи открыла...
Не осыпайся, мой дикий цветок!

* * *

Люблю я в комнате сиянье хрусталей.
Вдруг, нежданно блеснут то в том углу, то в этом,
Сверкают, яркие, из сумрачных теней
Зеленым, пурпурным иль темно-синим цветом.

И тут же гаснут все; но вот опять блестят,
Чуть с места я сойду; и снова погасают...
Не так ли и в тебе на мой тревожный взгляд
Они нежда́нные повсюду возникают?

О! пожалей меня! Где стать, ты мне скажи,
Чтоб все они в тебе, все сразу засияли...
Чтоб не смеялись вслед... не прибегали к лжи
И были скромными... а, главное, молчали!

Примечания

К. К. Случевский начинал печататься в журналах в 1850—1860 годы, затем надолго замолчал, и лишь в 1880-х годах появились четыре книги его «Стихотворений». Первые три тома итогового для поэта шеститомного собрания сочинений 1898 года заключали в себе почти все поэтическое наследие Случевского. В 1902 году к ним присоединилось отдельное издание «Песен из Уголка». Основная часть стихотворений настоящего сборника печатается по изданию: Случевский К. К. Стихотворения и поэмы. Сост. А. В. Федоров. М.— Л., Сов. писатель, 1962 (Б-ка поэта. Большая серия). Произведения, не вошедшие в книгу «Стихотворения и поэмы», публикуются по тексту «Сочинений» 1898 года. Поскольку Случевский, как правило, не датировал своих стихотворений и в прижизненном собрании сочинений расположил свою поэзию по циклам, в настоящем издании принят авторский принцип построения. В примечаниях использованы разыскания комментаторов предыдущих изданий К. К. Случевского.

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ. 1857—1860

Из Гейне (с. 35). *Гейне Генрих* (1797—1856) — немецкий поэт-сатирик.

ДУМЫ

В лаборатории (с. 40). *Сильф* — согласно учению немецкого врача и алхимика Парацельса так именовался дух стихии воздуха. *Пай* — так тогда назывался атомный вес.

Формы и профили (с. 41). *Дарвин Чарльз* (1809—1882) — английский естествоиспытатель, создатель теории о происхождении видов путем естественного отбора. Среди тогдашних русских ученых было много последователей Дарвина.

В больнице Всех Скорбящих (с. 42). Имеется в виду психиатрическая лечебница в Петербурге.

Голова Робеспьера (с. 49). *Робеспьер Максимилиан* (1758—1794) — один из вождей Великой французской революции, погибший на эшафоте после контрреволюционного переворота.

На судоговоренье (с. 49). *Синодик* — памятная книга в церкви, куда вписываются имена усопших, поминаемые на литургиях и панихидах.

Воплощение зла (с. 50). *Молох* — финикийское божество, в жертву которому приносились дети. *Сатанаил* — в верованиях средневековой богомильской секты дьявол, который вместе с тем сын бога и брат Иисуса Христа. *Патмос* — остров, где апостол Иоанн Богослов, согласно Апокалипсису, имел видения о конечных судьбах мира.

В костеле (с. 52). *Канцель* — кафедра проповедника. *Прелат* — духовный сан в католической церкви. *Рубенс Петер Пауль* (1577—1640) — фламандский живописец. Картины Рубенса «Воздвижение креста» и «Снятие с креста» поэт видел в соборе бельгийского города Антверпена.

На рауте (с. 53). *Раут* — в высшем свете званый вечер без танцев.

В театре (с. 53). *Маркиз Поза* — действующее лицо в драме Ф. Шиллера «Дон Карлос».

ЖЕНЩИНА И ДЕТИ

В бурю (с. 62). *Леман* — озеро в Швейцарии. *Паризина* — героиня одноименной поэмы Байрона.

«В костюме светлом Коломбины...» (с. 64). *Коломбина* — действующее лицо итальянской комедии дель арте; ее костюм, как и одеяния Пьеро и Арлекина, носили в маскарадах.

ЛИРИЧЕСКИЕ

На мотив Микеланджело (с. 72). *Микеланджело Буонарроти* (1475—1564) — итальянский художник, скульптор и поэт; стихотворение Случевского являет собой вольное подражание стихам Микеланджело о его статуе «Ночь».

Прежде и теперь (с. 81). *Анакреон* (580—495 до н. э.) — древнегреческий поэт, певец любви.

ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА

Коринфский Аполлон Аполлонович (1868—1936) — поэт, автор брошюры о поэзии К. Случевского.

«Устал в полях, засну солндно...» (с. 95). *Петел* — петух.

МУРМАНСКИЕ ОТГОЛОСКИ

Трубачев Сергей Семенович (1864—1907) — журналист.

МЕФИСТОФЕЛЬ

Мефистофель в своем музее (с. 120). *Астарот* — древнесемитское астральное божество, олицетворяющее планету Венера. *Вампир* — в народных поверьях мертвец, встающий по ночам из могилы и сосущий кровь своих жертв. *Кабиры* — в древнегреческой мифологии мудрые демоны, дети бога Гефеста и нимфы Кабиро, культ которых процветал на Самофракии и в других местах. *Кардинал Рец* — Жан Франсуа Поль де Гонди (1613—1679), французский государственный деятель, автор известных мемуаров о Фронде. *Елена* — в древнегреческой мифологии спартанская царица, красивейшая из женщин, из-за которой разгорелась Троянская война.

Соборный сторож (с. 121). *Отчитаны* — то есть над их гробами прочитаны заупокойные молитвы.

ИЗ ДНЕВНИКА ОДНОСТОРОННЕГО ЧЕЛОВЕКА

«Из Каира и Ментоны...» (с. 125). *Ментона* — курорт на средиземноморском побережье Франции.

«Все юбилеи, юбилеи...» (с. 127). *Вестминстерское аббатство* — собор в Лондоне, превращенный в усыпальницу королей, государственных деятелей и выдающихся писателей.

ПЕСНИ ИЗ УГОЛКА

«Мы — разных областей мышленья...» (с. 131). *Котляревский Нестор Александрович* (1863—1925) — крупный представитель либерально-буржуазного литературоведения, академик. *Валгалла* — в скандинавской мифологии чертог на небе, где вечно живут павшие герои-воины.

«Воспоминанья вы убить хотите?!.» (с. 134). *Банко* — полководец, действующее лицо трагедии Шекспира «Макбет». Дух Банко явился его убийце Макбету на пиру и занял его место.

«Часто с тобою мы спорили...» (с. 136). Стихотворение скорее всего посвящено Ф. М. Достоевскому. «Ты победил, Галилеянин!» — предсмертный возглас римского императора Юлиана-отступника, отрекшегося от христианства. *Галилеянин* — Иисус Христос.

«Нет, верба, ты опоздала...» (с. 146). *Кабаны* — глыбы. *Пишут к праздникам награды* — наградные суммы чиновникам.

«Пара гнедых» или «Ночи безумные»...» (с. 161). Речь идет о романсах на слова А. И. Апухтина, пользовавшихся большой популярностью.

«О, неужели же на самом деле правы...» (с. 173). Стихотворение является откликом на заявления немецких реакционных идеологов о пользе войн.

Статуя (с. 177). *Быков Петр Васильевич* (1843—1930) — поэт и журналист.

Мемфисский жрец (с. 178). *Мемфис* — столица Древнего Египта. *Озирис* — в древнеегипетской мифологии бог — царь загробного мира. *Фта* — Птах, мемфисский бог, творец мира и других богов.

На раскопках (с. 181). *Приам* — легендарный царь Трои, действующее лицо «Илиады» Гомера. *Разбужено киркой* — имеются в виду раскопки Трои, проводившиеся немецким археологом Генрихом Шлиманом. *Гектор* — сын Приама.

Мертвые боги (с. 182). *Архипов Иван Павлович* (1839—1897)— русский ученый-химик. *Оден* (Одии) — верховный бог скандинавской мифологии. *Перун* — в славянской мифологии бог грозы и грома *Гридницы* — палаты в княжеских хоромах. *Юпитер* — бог грозы древних римлян. *Вишну* — один из высших богов индуизма. *Ли безобразный* — скорее всего Лэй Гуи, китайский бог грома, изображавшийся в виде безобразного чудовища. *Брамины* — жрецы Индии. *Скальды* — скандинавские певцы-поэты. *Друиды* — жрецы кельтских племен. *Афродита, Астарта* — богини любви.

О первом солдате (с. 189). *Бухвостов Сергей Леонтьевич* (1659—1728) первым записался в потешное войско Петра в 1683 году. *Фузея* — кремневое ружье. *Кожухов поход* — к подмосковной деревне Кожухово в 1694 году. *Артикул* — приемы обращения с ружьем. *Переволочная* — городок на Днепре. *Ништацкий мир* — был подписан в Ништадте в 1721 году.

Новгородское предание (с. 191). Предание это поэт изложил в своей книге «По северу России». Поход Ивана Грозного, завершившийся разгромом Новгорода, был зимой 1569/70 года. *Концы* — Новгород делился на пять частей, называвшихся концами. *Снят долой* — это произошло еще при Иване III, в 1478 году, когда Новгород лишился своей вольности и был присоединен к великому княжеству Московскому.

Корона патриарха Никона (с. 192). *Никон* (1605—1681) — патриарх русской церкви, проводивший церковные реформы, вызвав-

шие раскол, и пытавшийся противопоставить свою власть власти царя Алексея Михайловича; умер в опале и ссылке. *Ризница* — хранилище облачений священнослужителей и предметов культа. *Патриаршья* ризница была главной сокровищницей церкви и находилась в Кремле.

Обезьяна (с. 199). *Кант Иммануил* (1724—1804), *Фихте Иоганн Готлиб* (1762—1814), *Шопенгауэр Артур* (1788—1860), *Гартман Эдуард* (а не Герман, как у Случевского) (1842—1906) — немецкие философы-идеалисты.

В ПУТИ

Озеро четырех кантонов (с. 206). Расположено в Швейцарии.

Страсбургский собор (с. 207). Собор во французском городе Страсбурге, тогда вместе со всей провинцией Эльзас отошедшем к Германии, был построен в XII—XIV веках.

Висбаден (с. 208). *Висбаден* — курортный город в Германии, место отдыха русской знати.

НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ И СМЕСЬ

После похорон Ф. М. Достоевского (с. 210). Похороны эти, состоявшиеся 31 января 1881 года в Петербурге, превратились в грандиозную манифестацию, событие большого общественного значения. *Ответчики за раннюю кончину* — николаевские жандармы и судьи, отправившие Достоевского в числе других петрашевцев на эшафот, а затем в Сибирь. *Некое большое торжество* — литературное собрание в годовщину гибели Пушкина.

Коллежские асессоры (с. 214). *Коллежский асессор* — гражданский чин 8-го класса, соответствовавший чину армейского майора и дававший личное дворянство. *Светопись* — фотография. *Прометей* — в греческой мифологии титан — создатель и учитель людей, добывший для них огонь; был за это прикован Зевсом к горам Кавказа.

Ноев ковчег — согласно библии в нем, причалив к горе Арарат, спаслись от всемирного потопа сам Ной, его семья, звери и птицы.

После казни в Женеве (с. 216). Исследователи сопоставляли это стихотворение Случевского с рассказом князя Мышкина о казни на гильотине в романе Достоевского «Идиот». *«Коль славен наш господь»* — первая строка вольно переведенного М. М. Херасковым и положенного на музыку Д. С. Бортнянским псалма 47, исполнявшегося в торжественных случаях и одно время бывшего государственным гимном России.

Памяти А. А. Григорьева (с. 217). *Григорьев Аполлон Александрович* (1822—1864) — критик и поэт, первым высоко оценивший стихотворения молодого Случевского и способствовавший его признанию, о чем позднее рассказал сам поэт в мемуарной заметке «Одна из встреч с Тургеневым».

На Раздельной (с. 218). *Раздельная* — станция железной дороги Одесса — Казатин. *Плевна* — болгарский город, осаждая который в 1877 году русские войска в боях с турками понесли большие потери.

«Улыбнулась как будто природа...» (с. 220). *Спиридон* — поворот (солнцеворот) — день 12 декабря (ст. ст.), когда, согласно пословице, «солнце на лето, зима на мороз». *Вифлеемская звезда* — согласно евангельскому преданию, указывала путь к городу Вифлеему, месту рождения Иисуса Христа.

СТИХОТВОРЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Рецепт Мефистофеля (с. 223). *Четьи-Минеи* — религиозная книга для ежедневного чтения, содержавшая преимущественно жития святых.

«Перед большим успокоеньем...» (с. 225). *Фрина* (IV в. до н. э.) — афинская гетера, знаменитая своей красотой.

НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Не Иудифь и не Далила...» (с. 234). *Иудифь* — в библии благочестивая красавица вдова, спасающая иудейский город Ветилуй от нашествия ассирийцев и с этой целью убившая их полководца Олоферна. *Далила* — в библии возлюбленная простодушного богатыря Самсона, выдавшая его врагам.

Содержание

Женщина и дети

Лирические

Мгновения

Черноземная полоса

Мурманские отголоски

Из природы

Мефистофель

Из дневника одностороннего человека

Песни из Уголка. 1895—1901

Баллады, фантазии и сказы

В пути

На разные случаи и смесь

Стихотворения последних лет

Неизданные стихотворения

Случевский К. К.

С49 Стихотворения/Сост. Н. К. Старшинов; Вступ. статья и примеч. В. И. Сахарова. — М.: Сов. Россия, 1984.— 256 с., 1 л. портр.

В настоящую книгу талантливого русского поэта Константина Константиновича Случевского (1837—1904), большого и оригинального мастера философской и психологической лирики, вошли лучшие его стихотворения разного времени.

С $\frac{4702010100-332}{М-105(03)84}$ 166—84 Р1

Константин Константинович Случевский

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор Э. С. Смирнова
Художественный редактор Н. Д. Викторова
Технический редактор Г. О. Нефедова
Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 2331

Сдано в набор 25.04.84. Подп. в печать 07.09.84. А05959. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 11,20. Усл. кр.-отт. 11,20. Уч.-изд. л. 9,67. Тираж 75.000 экз. Заказ № 1191. Цена 90 к. Изд. инд. ЛХП-175.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.


К·К·СЛУЧЕВСКИЙ